

С. ЮРЬЕНЕН

# ДОЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ



*Сергей Юрьенен*

**ДОЧЬ**  
**ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ**

*Роман*

Москва  
1999

ЛР № 090191 от 05.11.1997 г.  
Гигиенический сертификат  
№ 77.ЦС.01.952.П.01743.Т.98. от 07.09.98 г.  
ISBN 5-86290-381-5

☉ "Третья волна"

© С. Юрьеня

© 1999 г. ТОО "Внешсигма"

*Para  
senora A. G. R.*

*...Признак оторванности от почвы и корня,  
если человек склонен любить женщин других наций,  
т. е. если иностранки становятся милее своих.*

*Достоевский,  
Подготовительные тетради к «Бесам»*



## МАЙ

Пассажиры напирали к выходу, попутно беспокоя за плечо:

– Столица... Москва, молодой человек!

Застегнутый в ремень, человек этот лежал, откинув голову. Имея бороду и волосы до плеч, напоминал священника, но был не в рясе, а в несоветском пиджачке с чужого плеча. Еще на нем были очки, темные и битые. Очки скрывали сомкнутые веки, но только отчасти скулы, уже заплывшие.

Это был я.

Вокруг остались одни измятые чехлы, когда я щелкнул пряжкой и поднялся.

Переступив на трап, прищурился.

Мир дал трещину – причем, отнюдь не символически. Стекла держались, но на изломах засверкало, отдаваясь в мозг.

В такси я сел на заднее сиденье.

– Ленгоры. К МГУ...

Анестезия прошла, я это чувствовал под ребрами. Когда я открыл глаза, в окнах такси уже появилось светлокаменное высотное здание – сначала возник шпиль с основой, потом и боковые башни с часами, на которых я разглядел время. Все еще было рано, хотя Москва держала в воздухе, не давая посадки, почти столько же, сколько летели.

Расплачиваясь, я выгреб последнюю мелочь.

В иллюминаторе Главное здание МГУ на горизонте выглядело, как нелепый каменный торт. Но на человека у своего подножья оно наваливалось всерьез – всей тяжестью тоталитарного бытия. По гранитным ступеням я поднялся под колоннаду.

Латунный поручень турникета облез от миллиона бравшихся ладоней.

– Пропуск!

Как обычно, я только выдвинул студенческий билет, но вахтер от нечего делать проявил бдительность, заставив не только предъявить в раскрытом виде, но и вырвав из рук. На фотокарточке предъявителю вот уже пять лет как навивные 19.

– Вроде не ты?

Я не реагировал.

– Александр Ан... Андерс... Не наш, что ль?

Я снял очки:

– А чей же?

Поколебавшись, вахтер сложил пропуск.

– Ну, иди...

Шаги по мрамору отдавались под сводами и в мозгу. В сумраке центральной колоннады я свернул налево и коридором вышел на галерею с балюстрадой из полированного гранита. Еще раз выдвинул свой пропуск при входе в зону «В» – гуманитарный корпус. За углом налево ниши с лифтами. Я нажал кнопку, слыша, как где-то очень высоко включился мотор, оперся о битую грань.

Кабина пришла пустая.

Я начал этот день давно и далеко, а в общежитии еще не просыпались. В холле 12-го этажа плавал дым и стоял перегар от миллиона выкуренных сигарет. В сумраке коридора второй блок слева. Украшенная четырехзначной латунной цифрой дубовая дверь отворилась в прихожую, где было еще четыре. Две – в комнаты с квадратами непрозрачного стекла. Изнутри правой – стекло добавочно затемнили постерами. Я нажал ручку. Заперто. Я стукнул и обдул костяшку, на которой лопнула запекшаяся ссадина.

– Тс-с...

Иванов вылез с пальцем у рта. Вафельное полотенце, которое он сжимал у пупка, не скрывало признаков – небольшой, но перетруженный.

– Йо-о... – разглядел он. – Где тебя так?

– Далек от Москвы.

– Шпана?

– Офицерье.

– ГБ?

– Армия. Как у тебя с деньгами?

– Друг... Все спустил на праздники. Ногами били?

– Естественно – когда упал.

– Ничего не поломали?

– Очки.

– Рентген бы сделать.

– Ерунда... Хотя бы рубль – нет?

Со вздохом Иванов влез в комнату и появился с чужими джинсами. Вынул из них дамский кошелек, расщелкнул и отпустил мне юбилейную монету. После чего понюхал джинсы.

– Чьи, узнаешь?

Во время зимнего анабиоза пришла ему идея кругосветного путешествия *не вынимая* – благо в МГУ 102 страны. Для начала Иванов наметил братскую Польшу – пепельную блондинку Полу, обладательницу этих первородных «ливайсов».

– Поздравляю.

– Особенно не с чем. По-русски еле-еле. Дипломница, а предлагаешь «всадницу», она в окно. Интерпретируя, что в задницу. Чему их тут учили? По-моему, душок... Не чуешь?

От нюханья джинсов я воздержался.

– Или это усы?... – Иванов вымыл их с мылом в душевой и осушил полотенцем. – Сбрить, что ли, гордость казацкую?

– Сбрей, если так.

– А вот! – Иванов хлопнул по сгибу локтя. – Пойми меня правильно, я к п...де с полным уважением. Не как наша «русская братия»: чем лизать соленый клитор, лучше выпить водки литр. Меня даже Джиана мужским шовинистом не называла. Но все хорошо в меру, нет? Ты мне статью давал Томаса Манна, даже и «Достоевский – но в меру». Эта же, – тряхнул он джинсами, – не знает и знать не хочет. Хоть и западная, все тот же славянский безудерж. При этом, что парадоксально, чистый соц. Ну, хуже наших. Все-го боится. Сплетен. Что в посольство стукнут ихнее – на счет морального облика. В общем, наверно, я промашку допустил. На подругу надо было курс держать. Подруга у ней типа за...сь... О, – хлопнул он себя по лбу. – Ты машинку не загнал?

– А что?

– Перепечатай ей диплом, и будем по нулям. Сколько за тобой там, четвертак?

– Поле?

– Подруге. Между прочим, из Парижа.

– Француженка?

– Испанка, друг. Глаза до этих самых достают. А попка... Но лавер, к сожалению. Латино. Лучше не соваться. Так как?

– Не знаю... Роман я собираюсь начинать.

– Тебе же это пару дней?

С ногтя я подбросил рубль, который открылся не орлом – с ладони смотрел профиль Ленина.

– «Картавого» включая? – уточнил я.

Семь этажей вверх – и я появился на крыше корпуса перед своей Южной башней. Лифт уже, как в обычном доме. Еще четыре этажа, и с мыслью отключиться минимум на сутки я вынул ключ. Оказалось, что не заперто.

В проеме окна стояла голая особа. Любуясь видом на Москву, она от избытка энергии переталкивала веснушчатый задом. Сквозняк вывел ее из забытья. Охнув, она прикрылась, а потом спрыгнула так, что у секретера, забитого словарями, подскочили рамы.

– Мамочки. Глаза-то закрой!

Натянув платье, всунула ноги в «лодочки» и пошла на меня, раздираясь алюминиевой расческой.

– Вы кто?

– В профессорской посуду мою.

– А здесь как?

– Сержант привел.

– Какой?

– Пусты, ну. Вон за шкафом...

Накрывшись с головой, на моем койко-месте лежал обладатель надетого на стул мундира. Погоны были голубые, и на каждом сияла надраенная аббревиатура «ГБ».

ГБ?

Я снял очки.

На письменном столе был бардак, под который подстелили номер французской газеты – вынужденно коммунистической. Граненые стаканы из столовой, две бутылки из-под водки и супная тарелка, полная окурков американских сигарет. Лаковым козырьком и кокардой сияла фуражка. Ее нутро издавало честный запах «Тройного» одеколона. За ободок вколоты две иглы, обмотанные черной ниткой и белой, а по окружности послынявленным «химическим» карандашом выведено: *«Альберт Лазутко, Советский Союз»*.

Я сдернул простыню.

Суровой зимой после подавления Праги этого мальчика-полиглота отчислили за связи с иностранцами. С тех пор языки он, возможно, позабыл, зато превратился в атлета.

– Подъем!

Ягодицы стиснуло. Подброшенный пружиной атлет вскочил и стал надевать брюки цвета хаки. Потом глаза его открылись. Он сорвал брюки и швырнул их на пол. Снял за погоны свой мундир, бросил поверх. Метнул фу-



ражку. Вспрыгнул на свою форму и стал затаптывать ее в паркет. Член его подпрыгивал. Он рычал и скалился – с незнакомым мне выражением. К мундиру был привинчен знак «Отличник боевой и политической подготовки». Наклоловшись, он отскочил.

– С-сволочи. Три года жизни...

Он распахнул окно и вспрыгнул на подоконник, откуда за рекой под солнцем Москва сияла до самых кремлевских башен.

– Сва-бода!

С высоты, на которую даже птицы не поднимались, можно было без последствий упражняться в том, что психоаналитики называют изначальным криком.

Альберт распечатал *Viceroy*.

– Из буфета ЦК, между прочим... Закуривай. Как Альма Матер?

– У Клубной части крыльцо обрушилось. Не видел? Оседает Альма Матер под собственной тяжестью.

– Но стоит?

– Как видишь.

– Товарищи Шестьдесят Восьмого года?

– Иных уж нет.

– А те?

– Далече.

– Айвен?

– Вернулся в Штаты. На машине стали сбивать три первые буквы.

– *Lancia* была?

– Она.

Альберт усмехнулся.

– Похоже на ребят. Что ж, сам и виноват. Слишком хорошо по-русски говорил. Я его предупреждал. Дистанцируйся от пипла, подпускай акцент. Жаль. Парень был хороший. Жан-Мари?

– Здесь. Впал в голубизну.

– Да ну? По-прежнему *soso*?\*

– Пассивный.

– А твой анарх – испанец?

– Давно в Париже. На прощанье во гневе оглянулся. Вы-

---

\* Коммунист (фр. аргю)

бил стекло на Главном входе. Руку обмотал шарфом и улетел в крови.

– Да, жесты он любил... А без меня знакомства были?

– Не с иностранцами.

– Все эти годы – и ни одного?

– Все эти годы, – ответил я, – были одной большой иллюзией. Советской.

– Что ты имеешь в виду?

Я ухмыльнулся.

– Любовь.

– Вопросов больше нет...

Альберт принял душ, руками вычистил форму («Еще вылезу из этого...»), навел блеск на ботинки, надел фуражку и козырнул:

– На фак. Насчет восстановления.

– Какое отделение?

– Прости – но только не на русском.

– Удалось сохранить языки?

– Друг! Со словарями я даже на учениях не расставался. За голенищами таскал. Единственное, что спасало... Адьос.

– Оревуар.

К фанерной изнанке секретера приколоты все те же снимки. Один я вырезал из найденного французского журнала – изможденный литературой мизантроп с венозным виском. Другой получил до востребования и без обратного адреса. Это было любительское фото. Альберт был на нем еще в чине ефрейтора. Во рту сигарета, руки раскинуты на оба полушария политической карты мира, висящей за его спиной в каком-то из «красных уголков» сверхдержавы.

Я смежил веки.

Потом я слез с дивана и завернул матрас.

Кроме женских трусов, неприятельных и незнакомых, под ним была заначка димедрола – сдвоенная облатка с прозрачными ячейками. Таблетки в ячейках сплющило. Принять, что ли, в виде порошка?

Нас поджидали в арке ее дома на Коммунистической – из ресторана пьяных. Засада меня даже обрадовала, я просто не представлял, как вернуться в Москву живым. Но она меня отбила каблуками и притащила к себе, где я принял сразу все таблетки, предусмотрительно захваченные из Москвы. В Москве я их и начал принимать. Год тому назад.

Весь тот год – от зимы до зимы – мы с ней бросали вызов государству, которое заставляет каждого жить согласно «прописке» – положенному месту. В Москве ей было «не положено». Жить в разлуке было невозможно, но государство доказало, что только в разлуке можно выжить. Она вернулась по месту «прописки». Она хотела лучше умереть, я сам ее отправил. Полгода после этого надеялся, что не конец, а просто анабиоз – до весны. До майских праздников. До этого рассвета, когда я осознал, что она спит, что под моими толчками она давно уснула. Я застыл на месте. Отвел свой взмокший чуб и понял, что уже даже не конец, а то, что – после. Инерция распада. Подтеки туши высохли под сомкнутыми веками. Косметика стерлась о подушку, обнажив бледное лицо – вдруг почему-то совершенно случайное.

Она не проснулась, когда я вышел, и продолжала спать, когда я ушел, прихватив свое фото из-под настольного стекла и книгу, за которую на первом курсе отдал стипендию на черном рынке, – «Путешествие на край ночи».

Я был уверен, что самолет разобьется.

В шкафу с изнанки дверцы было зеркало. На меня вопросительно смотрел побитый христосик. Скулы, конечно, вопрос времени. Но волосы до плеч, но борода... Я расщелкнул инструмент – сдвоенную расческу. Бритвы в ней заржавели, но других не было.

Я занялся самоистязанием. Сжимая челюсти, стонал. Потом я вытер слезы. Вся «духовность», за которую меня любили, слетела на затоптанный паркет. Я смел ее на разворот «Юманите», ссыпал окурки, уронил трусы. На х... порвал свой димедрол и бросил сверху. Скомкал все это, ощущая деликатность газеты, пусть коммунистической, но западной, отнес на кухню и спустил в дыру.

Теперь я смахивал на Ди Эйч Лоуренса – на снимок с карманного издания *Lady's Chattenley Lover*\*.

Оставалось написать роман.

\*

Он объявил, что Сорбонну я должна выбросить из головы: «Учиться поедешь в Москву».

---

\* «Любовник леди Чаттерлей» (англ.)

Я хотела быть писательницей. До тех пор пока идея не увлекла его. Это стало идефиксом: дочь-писательница. Ссоры прекратились. Дочь сидит взаперти и стучит на машинке.

Однажды вошел, взял страницу и прочитал, почесывая брюхо. «Не то пишешь. Напиши-ка лучше роман о забастовке». – «Какая забастовка?» – «Горняков Астурии». – «Про Испанию я ничего не знаю». – «Я подберу тебе все материалы и напишешь. Публикуем немедленно. Переводы на все языки, включая русский и китайский. Слава, деньги, независимость. Ты же хочешь независимости?»

Он ушел, я все порвала. С тех пор писала только для лица. У меня всегда были самые лучшие сочинения.

Последний текст для лица был ни о чем. Ни к чему не имел отношения. Я описала кресло, найденное мной на чердаке фермы, где живут мои бабушка и дедушка. Со всеми подробностями я описывала погружение в это кресло и в прошлое моей семьи. У меня нет ни бабушки, ни дедушки, ни фермы, ни страны, ни прошлого. А с ними меня не связывает ничего, кроме зависимости.

И будущего, от которого страшно по ночам.

Я сказала, что в Москву не поеду. Он сказал – нет денег содержать студентку в Париже. Буду сама зарабатывать. Без документов? Я получу. Что ты получишь? «Карт д'идантите». Его чуть приступ не хватил, так он орал. Иди получай! Расскажи все им! Заодно и в газеты их сходи – еще и золотом осыплют! Надо же кого я воспитал. Профессиональный революционер – мелкобуржуазку!

От слез у меня вылезли ресницы.

В подвале я нашла пистолет. В чемодане с сырыми газетами. Будь это просто анонимный пистолет, мне бы и в голову не пришло. Но «кольт» был адресован Ему: «Товарищу Висенте – Фидель. Родина или Смерть!» Я взвела курок, приставила дулом себе под левую грудь и нажала спуск. Осечка. Патроны испортились. В этом подвале каждую зиму прорывает трубы.

В своем прокуренном кабинете он писал. Я положила пистолет ему на рукопись. Снова взрыв. Откуда? Почему не выбросили?

Вызвали Гомеса. Поехали с ним и утопили в Сене. «Твой отец – святой человек...»

Он дал мне денег – сняться на паспорт.

«На какой?»

«Какой достану».

В Париже уже никого. Симон улетел в Голливуд – искать счастья. Кристин после аборта отправили в Нормандию. Марокканский ее принц исчез. Я поехала на Республик. Нгуен был дома, но простужен, и ничего хорошего из этого не вышло. Но так или иначе.

Нгуен.

Это – Швейцария. Цюрих, какой-то парк. Но даже здесь, в нейтральной стране, где всем на все наплевать, Он сидит на другой скамье. Делает вид, что читает *Financial Times*.

На Лионском вокзале мы сели в разные купе. В одном мать с Рамоном, Паломой и Тео. В другом я с зеленым паспортом, выданном в Голландии, где я никогда не была. В третьем – Он. Уж не знаю, с каким из своих паспортов.

Через три часа самолет на Москву. Никогда я не могла понять, почему так покорно шли в крематорий. Я совершенно свободна. Встать и убежать, исчезнуть. Погибнуть или стать совершенно другим существом. И никогда не вернуться. Желание такое сильное, что я даже схватилась за скамейку. Но почему я продолжаю сидеть? Неужели из-за этой дурацкой истории, которую они превращают чуть ли не в трагедию? Я забыла в поезде фотоаппарат. Оказывается, пленка была начата, там все их руководство во главе с Ним. В непроявленном виде...

Меня высадили на окраине Москвы.

Я думала, по крайней мере, окажусь внутри грандиозного в своем безумии сталинском здании со шпилем – в Главном. Нет. Только начиная с третьего курса. Поселили в банальный Студенческий городок. Километрах в двух-трех от Главного здания, но это уже полная окраина. Пятиэтажный корпус с видом на пустырь. Обитатели вылезли из окон, глаза на этот катафалк – черную «Чайку», из которой вынимали мои чемоданы.

Перед отлетом в Париж они заехали еще раз – попрощаться. Было взаимно тягостно. Я была им неприятна. Сознывая это, я не делала никаких попыток облегчить им страдания по поводу их предательства. Радости, что оста-

юсь, я не выразила. Негативных эмоций на этот раз тоже. Нулевой градус. Чистый садизм с моей стороны. Возможно, я преувеличиваю свою роль любимой дочери. Возможно, они вовсе не были раздавлены комплексом вины. Но им было очень неприятно. Они прилагали все усилия, чтобы не замечать убожества, в котором меня бросают. Садясь в «Чайку», мать еще раз похвалила чистый воздух столицы СССР. Я заметила, что и в Париже у меня не было проблем с дыхательным трактом. Не удержалась...

«Все же кури поменьше».

Свобода... Где?

Парадоксально, но во Франции, на Западе вообще, я себя чувствовала, как в концлагере. А в настоящем лагере – «социалистическом» – свободна до головокружения. Так, что даже страшно.

И, конечно, – деньги. В Париже приходилось даже на билет в метро просить. Здесь сразу выдали 90 рублей. Сколько это? Сказали, что для советских стипендия – 35. Я отсчитала 55 обратно. Смотрели, как на идиотку. «Не положено». Замечательное русское слово! «Вам, как иностранке, положено 90».

И хоть застрелись.

Комната на пятом этаже. Еще три кровати – кроме моей у окна. Пока с голыми сетками.

Пустырь до горизонта.

Три эфиопа – или это суданцы? – очень высокие, очень черные, завернутые в ослепительно белые одеяния, стоят внизу на закате и смотрят в этот советский пустырь, как еще вчера в пустыню. Они стоят на асфальтовой дорожке, сразу за которой заросший пыльной пылью овраг. По дну его проложена узкоколейка. По ней проходит вагонетка. Только по ночам – никогда днем. Окно открыто, я просыпаюсь. Вагонетка идет медленно, тяжело, спотыкаясь на стыках рельс. Навещает какое-то предприятие на пустыре вдали. Бункерного вида – одноэтажное, с глухими стенами, сливающимися с местностью. Рельсы упираются в железные ворота, которые открываются только по ночам. Днем бункер признаков жизни не подает.

«Что там?» – спросила я. Комендантша корпуса Екатерина Ивановна, ядреная русская баба (как пишут в со-

ветских романах), посмотрела с подозрением: «Тебе какое дело?»

Я почувствовала себя шпионкой.

Но в этом бункере явно что-то секретное. Биологическое оружие, химическое? Склад радиоактивных отходов? Это всего метрах в 500-х. Вдруг это соседство изменит мою биохимию? Мою формулу? Психику это уже меняет.

А по другую сторону пустыря, рядом с шоссе, дощатый павильон «Мосфильма». *Воксал* из «Анны Карениной», которую сейчас снимают. Снова будут навязывать ложь скоро уже позапрошлого века. Я имела несчастье прочесть эту книгу в детстве по-русски. Не с нее ли начались мои комплексы, вся моя деструктивность?

Бункер и этот павильон «важнейшего из искусств».

Где я?

Симон, Кристин, Нгуен?..

Меня обокрали. Из умывальника пропало все мое белье. Здесь стирают вручную и развешивают на веревке. Валя Примакова, соседка по комнате, захохотала: «Мать, ты сама виновата! Кто же оставляет без присмотра французское белье?»

Но в стране, откуда я приехала, другого и не носят.

Осталось, что на мне. Лифчик, трусы.

Первый день занятий.

Факультет на проспекте Маркса, в центре. Это далеко. Это – сначала пешком, потом на автобусе, потом на метро и снова пешком. В Москве нас всегда возили. Я не подозревала, что эти пространства способны так изнурять.

Понимаю с трудом. В разговорном варианте русский – это громкий, резкий, агрессивный язык.

Снова общежитие. Душевая. Отделанные непрочной плиткой секции без дверей. Габариты местной наготы угнетают. Тем более, что моя вызывает острое любопытство. Разглядывают откровенно, стремясь при этом войти в физический контакт: «Спинку потереть?» Бр-р...

С едой проблема. В столовых несъедобно. Даже в зале «интернациональной кухни», где «мясо по-кубински» только ценой отличается от «азу по-татарски». В общежитии есть кухни, без холодильников и по одной на этаж, но гото-

вят только индусы. И что готовить? В «гастрономе» домохозяйки давятся за синюшными трупиками кур.

Живу на кофе и сигаретах.

«Мальчик». Его привела Валя Примакова. Студент Института восточных языков. Арабист, со мной говорит по-английски. Хочет работать на Ближнем Востоке. Почему? Книжку когда-то прочитал. «Кукла госпожи Барк». Про шпионов в Тегеране. Рост, статья – похож на американца. Но глаза все портят. Какие-то рыбки.

Свобода... но какой ценой? Про качество жизни забудем. Об этом и понятия здесь нет. Здесь есть то, что есть. Реальность.

А что реальность?

Реальность – это сало, завернутое в какую-то провинциальную из «правд». Реальность – это Валя Примакова. Реальность – это развернуть утром сало на голом столе, отрезать ножом и есть. С хлебом и чаем. Потом заворачивать в газету и прятать в шкаф. Где, среди прочего, моя одежда. Мой флакон Герлена. Восток и Запад – вот формула конвергенции на нашем частном уровне... Одна носит парижскую одежду, воняющую салом, другая жует сало, отдающее *L'Heure bleue*.

Есть еще Оля и Таня. Обе держат себя, как красавицы. Может быть, по местным стандартам, они красавицы и есть. Я же наблюдаю у обеих гипертрофию зада. Труссы, которые они развешивают на перекладинах кровати, если и можно найти в Париже, то разве что в английском магазине – бульвар Османн. Может быть, это мне только кажется. Может быть, это я уродка, а у них все основания, чтобы смотреть на меня с неподражаемым советским превосходством. Впрочем, трусы свои они прикрывают полотенцами.

«Неудобно. Вдруг мальчики?»

Примакова надела мой свитер и пошла на «стрелку». Вернулась она в истерике:

– Ужас, кошмар... – Зубы лязгают о стакан с водой. – Думала, приличный мальчик...

– А он?

– Извращенец! Такое, девочки, мне предложил...

Когда жестами и междометиями Примакова объясни-



ла, в чем дело, обе дуры тоже закричали, какой кошмар. При этом всем по 18–19. Я засмеялась, они обиделись.

– По-твоему это нормально?

– Вполне.

– А тебе такое предлагали?

Я вспомнила Жориса из XVI-го округа:

– Раз было.

– В Париже?

– Да.

– Какой кошмар... А ты?

– Сделала, как просил.

– Но это же извращение?

– Нет.

– А что же?

– Это, – говорю им, – петтинг.

Такого слова они не знают. У нас называется «онанизм».

И это у нас – извращение... Смотрели на меня при этом с таким ужасом, что я пожалела о своей сексуальной откровенности. И разозлилась. Не столько на этот инфантилизм, сколько на подлое лицемерие.

– О'кей... Обнимаетесь, целуетесь. Нормально?

– Нормально...

– Доводите, – говорю, – партнеров до эрекции, себя до мокрых трусов.

– Почему мокрых?

– Ладно... А что потом?

Они с гордостью:

– Девушки отдаются только до пояса. Сверху!

– А что такое *blue balls*\*, не знаете? С его стороны вполне нормально попросить руку. Как минимум.

Всеобщее отвращение.

– Взять это в руку? Ф-фу!

– К себе же прикасаетесь?

Все в крик:

– С ума сошла? Конечно, нет! Как в голову могло прийти?..

**Ets.**

После этого ворочались в постелях. Потом Примакова:

– Инес, а ты еще девушка?

– Нет, конечно.

– Почему это «конечно»? Мы, например, все девушки.

---

\* «Синие яйца» (ам. аргю)

– Сочувствую. В этом возрасте вредно.

Они испугались:

– Почему?

– Паутина заводится.

– Нет, серьезно?

В Париже я представляла себе все. Кроме того, что в 19 лет попаду в детский сад.

Свитер я обратно не взяла. Примакова на этой «стрелке» прожгла его сигаретой.

Мой первый советский. Юра. Пригласил на танец, а потом пропал, смутившись от своей эрекции. На следующий день я нашла его комнату. Постучалась, вошла. Юра спал. Во сне он показался мне еще красивей. Я села рядом. Через полчаса он мне разонравился. Настолько, что, уходя, я боялась, что он проснется. Что тогда делать?

Он не проснулся.



На дипломный семестр Инес Ортега переехала в город. Человек из Испанского центра открыл ей комнату московского испанца, который находился в долгосрочной командировке в Латинской Америке.

Она оказалась в рабочем районе. В коммуналке – с соседями. Один из них сначала называл ее жидовкой и угрожал топором. Но, узнав, что она испанка, вспомнил лозунг «Но пассаран» и стал приглашать на пиво. Он показал ей справку, где был написан его инвалидный диагноз: «Полное затмение центральной нервной системы». Он делал клетки и продавал их на Птичьем рынке.

В другой комнате жила пожилая женщина с матерью-старухой. Мать была верующей, а дочь работала в сборочном цеху и свой инструмент называла «гайкоё...м».

Комната была пуста. Часть отделена шторой на палке с кольцами. Инес купила матрас и устроила за шторой будуар. Решетка вентиляционной трубы в левом углу пола оказалась прямо под изголовьем. Голоса рабочих из котельной были, как снотворное.

Инес купила венский стул и старинное трюмо. Каждое утро она садилась перед зеркалом – работать. Для вдохно-

вения она заглядывала в свой синий документ – вид на жительство для иностранца в СССР. Штамп визы подтверждал, что через три месяца она должна вернуться в Париж. От этого голова шла кругом больше, чем от кофе и первой сигареты. Она уезжала из Парижа никем, а вернется преподавателем. Место в лицее Дидро уже зарезервировано, а это значит – своя квартира, машина и свобода.

Оставалось только защитить диплом. В зеркале виден был матрас с раскрытой тетрадью у изголовья. При мысли о дипломе ей хотелось продолжать дневник. Или начать роман. А лучше всего лечь и до отлета не вставать. Ей прислали несколько коробок с энергетическими ампулами для интеллектуалов. Приложенной пилочкой она надпиливала кончик, отламывала и, запрокинув голову, вливала в себя парижский эликсир.

Он оказался эффективным. Еще была целая коробка, когда в одно прекрасное утро Инес поставила точку. Оставалось найти машинку, чтобы все это перепечатать.

В специализированном магазине на Пушкинской в продаже оказались только арифмометры. Машинки? Может быть, к осени поступят. Ей предложили записаться.

На осень? Инес засмеялась. Осенью проблема дефицита будет решена. Для нее, во всяком случае.

Она поехала в общежитие.

– С русским шрифтом? – уточнил, покручивая ус, новый любовник Полы, которая по лицу Инес пыталась прочесть реакцию. Потому что он был советский – предел падения. Но, по крайней мере, в джинсах. С заплаткой в виде сердечка, по которому он хлопнул:

– Знаю.

МГУ, конечно, не Сорбонна. Единственная на курсе машинка была у его знакомого. Который «мертвая душа». В общежитии только прописан, а живет на квартире, которую снимает где-то у черта на куличках.

– Зачем?

Советский понизил голос.

– Писатель. Модус вивенди в соответствии.

– То есть?

– Все запрещенное. Уставом социалистического общежития. Отсюда его бы выгнали – если не хуже. Не говоря о микрофонах, здесь же, вы знаете – стукач на стукаче...

- Он богатый?
- По уши в долгах.
- На что же он снимает?
- Дипломы пишет. Одному арабу он...
- За деньги?
- Да, но гениальные. Если хотите, у него две степени уже – в Бомбее и в Багдаде.

Инес затынулась и выдула дым.

- Как мне его найти?

С порога Пола обернулась:

- То может, я побуду в душе, стара?

Мать Пола изнасиловали в танке, куда втащили, когда она с цветами встречала Красную армию. Что ей не помешало в «новой Польше» стать партийным деятелем, а Поле идти на риск даже с грузинами – не говоря о русских уса-чах.

- Будем жить опасно, – ответила Инес.

- Но то па.

- Па.

Вид был на залитые солнцем Ленинские горы – асфальт и газоны с деревьями в цвету. Инес влезла с ногами на выдавший виды диван. Папку с дипломом она положила на край стола.

Три сигареты спустя в дверь постучали. Писатель дипломов за темными, причем, разбитыми очками пытался скрыть вспухшие скулы. Не без труда он улыбнулся: «Буэ-нас диас».

Сел, открыл папку.

- *«Идиот и Дон-Кихот»*... Речь об этом?

Она кивнула.

Он взялся за карман пиджака, вынул пачку американских – она отказалась. Она курила «Шипку» – эти болгарские в Москве без перебоев.

- Что вы думаете? – спросила она, когда он дочитал.

- С точки зрения научной?

Она вспыхнула:

- Мне на науку наплевать, а на советскую тем более.

Мне надо защитить это говно.

– Почему? По замыслу это как раз интересно. Но мне сказали, что речь только о перепечатке.

- А мне сказали, что вы профессор преступного мира.

Он покраснел.

– Или нет?

– Обстоятельства...

– Сколько вы берете за диплом? Я заплачу вдвое. Хотите валютой? «Мальборо»? Джинсы? Я пришлю вам из Парижа все, что захотите.

Облако дыма разрасталось между ними. Он утер глаз под разбитым стеклом.

– У меня друг был из Парижа... Сломался здесь.

Она назвала имя:

– Нарциссо.

– Вы его знали?

– С детства. Он с ума сошел после Москвы. Сидит все время взаперти.

– А Париже?

– Да.

– В Шестьдесят Восьмом году мы с ним здесь пошумели. Настоящий был анарх. А вы?

– Что я?

– Как выдержали до диплома?

– Обстоятельства, – сказала она с вызовом.

Он взял папку, поднялся.

– Сложную тему вы для себя изобрели. Мне нужно подумать.

– Только недолго.

– Адиос.

– До свиданья, – ответила Инес сердито.

Из автомата у «Автозаводской» она сказала, что советский этот ей приснился. Без порнографии. Только улыбка.

«Только? Стара, ты в большой опасности. Поверь мне. Встречайся со своим латино как можно больше».

Опасности никакой, но озабоченность подруги была приятна.

Солнце перекрыл парень с завода.

– Ё...рь нужен?

Несмотря на школу коммуналки, Инес не сразу поняла. Потом она засмеялась.

– Есть уже.

– А жаль.

Инцидент ее поразил, в Москве к ней не приставали. Худую, стриженую под «тиф», в длинном плаще и джинсах,

даже за женщину ее не принимали, обращаясь только по пивному делу: друг, дай двадцать копеек...

Она заглянула в стекло табачного киоска.

Лицо обычное.

Просто пришла весна. И ветер гонит пыль по улице.

– А если говорить всерьез?

Тогда Альберт вспомнил из чтений ранних лет – украинского экзистенциалиста Георгия Сковороду.

– *Мир ловил меня и не поймал.* Сковорода на своей могиле это написал. А если ты еще живой, что делать? Меня поймал.

В огромном ресторане на вокзале они кончали графин водки.

– Но ты бежал?

– Еще бы не бежал. Как получил повестку, сразу порвал и сделал ноги за Урал. Затаился в сельской школе, преподавателем всего. Вывел школу в лучшую по области, которая равняется трем Франциям. Только стал думать, что СА меня забыла, как она нашла. Изъяли прямо на уроке. Обрили и в «столыпин». Трое суток взаперти. Все, думаю: штрафбат, китайская граница, бытие-к-смерти... Остановились. Откатили двери. И что? Откуда убежал, туда и привезли. *Москва.*

– Все это время мы были под тем же небом?

– Только я за воротами. Знаешь – из цельного металла. С красной звездой, которую свобода лишь на миг ломает по середине. Бля, с пентаграммой...

– А за ней?

– Не разглашу. Присягу дал.

– Кому?

– Тому, кто правит бал. И отныне Альберт Лазутко мелкий бес. Ухо со мной остро. Продам любого.

Налил стакан и выпил.

– За что?

– Продам? За то, что сам капитулировал.

По стенам и сводам мозаика в глазах Александра сливалась в один жизнерадостный и тошнотворный гимн эпохи, от которой не уйти.

– Меня тоже?

– Друг... Всё ведь здесь. – Имея в виду сердце, Альберт ударил себя под знак «Отличника», привинченный к мун-

диру. – Наш экзистанс, спонтанность наша, прорывы в подлинность... Любого смету с пути, но только не тебя. Неразложимое ядро.

В такси обоим стало плохо. Чем Александр и объяснил тот факт, что кореш побелел, как мел, увидев у двери квартиры в Спутнике существо нездешнее.

Полы ее плаща лежали на ступеньках. В бутылке из-под молока клубился дым окурков. Она поднялась навстречу, прижимая папку.

– Инес! Позвольте вам представить... – Александр схватился за перила. – Мой друг из Министерства любви.

К губе Альберта присохла сигарета, и стоял он, ладонь впечатав в стену. Инес перевела глаза на Александра, который пожал плечами.

Сигарету Альберт оторвал с кровью.

– Аншанте...

Вывернув карман пиджака, Александр отцепил с булавки ключ. С одного из попаданий ввел и распахнул:

– Моя конспиративная... Как вы нашли, Инес?

Стоя в винный отдел, Альберт упрекнул:

– А говорил, что с иностранцами не водишься...

Александр не знал и даже не догадывался о том, что у человека могли отобрать перед демобилизацией подписку – информировать о контактах с иностранцами.

– Она тебе кто?

– Никто.

– Темнишь. Скрываешь от всевидящего ока... – Альберт взялся за прилавок, крытый железом:

– Шампанского.

– Бутылку?

– Пару.

– Сладкого, полу?

– Как полагаешь, друг? Давайте брют.

– Воля ваша, но девушка вспучит животы. – С показом рейтуз, передавивших ляжки, тетя Люба сняла бутылки. – Монопольной сколько?

– Не водки. Рому.

– Где ж ты такое видишь?

Альберт показал на светлый тростниковый *Caney*:

– Вон стоит.

– Кубинская ж отрава?

Очередь загудела в поддержку:

– Если душа солдата просит? Ты, Люба, знай-давай. Мы, сказано, народ-интернационалист.

То, что в Москве еще не поздно, в «спальном городе» уже глухая ночь. Из черноты окна сквозило свежестью полей. Такси здесь нет, в Москву только автобусом. В ожидании последнего Александр наблюдал, как иностранка, готовая подняться, сводит пальцы на подлокотниках.

И разжимает снова.

Альберт крутил *El condor pasa*. Эту – и еще «Сесиль». Мятую сорокопятку фирмы «Мелодия».

Она услышала автобус тоже. Издали – когда на пере-мычке мотор стал брать подъем. Улица здесь с односторонним движением. Автобус описывает петлю вокруг Спутника и – буэнас ночес – назад в столицу. Пыточный инструмент, а не маршрут. Гаротта. Завинчивая винт на горле, автобус – остановка за остановкой – приближался. Под взглядом огромных черных Александр очерствел лицом. Синьорита, мадемуазель...

Ваш выбор.

Автобус захлопнул двери. Она осталась. Через мгновение дом затрясся, на столе зазвенело.

– *El condor pasa*, – сказал Альберт.

Они смеялись, глядя друг на друга, – Инес и Александр. Он не смеялся так давно – до слез. Потом хватил рома и впал в апатию, слушая, как, помимо испанского, на котором с Богом, Альберт уже извилисто впускает по-французски.

Ложиться пришлось вместе.

Встроенный шкаф в открытом виде превращался в динамик. Надев мундир на проволочную вешалку, Альберт слушал, как в гостиной гостя чиркает спичкой.

– Курит... Невероятно.

Закрыл деликатно дверцы. Лег и свел пальцы под затылком.

– Ну, друг, скажу тебе... Сверхиностранка. Везде была, все языки свои. Вот уж, действительно, гражданка мира. Каким мир еще неизвестно когда будет. Поверх границ.

Александр отвернулся к стене и подсунул край одеяла себе под поясницу.



– В казарме я забыл, что, кроме биомассы, в этом мире есть еще и люди. Она ведь как бы на пьедестале, да? Где золотом написано: «Эчче Уомо». Воплощенное достоинство. Свобода. Ты заметил? Ничего не боится абсолютно. Говорит что думает, что думает, то говорит. Вот это оно и есть – Европа. Нет, в ориентире мы были правы. Запад. Только Запад. А ты что думаешь?

– Про что?

– О ней.

– «Фрэнч кисс», – я думаю. Сосет, наверно, хорошо.

Он оскорбился.

– Ты не был циником.

– Я говорю, что думаю.

Он замолчал.

Самоизвергаясь, член подпрыгивал над впадиной живота.

Александр утерся и отбросил простыню. Альберта не было, от парижанки только запах. По пути на кухню под ноги попала фуражка с голубым околышем. Он пнул, она обратно прикатилась. Он подобрал, повесил.

Начать с того, что Достоевский считал роман Сервантеса книгой, которые посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. Которую не забудет взять с собой человек на последний суд Божий...

Заваривая пятый чай, он их увидел в окно. Аборигены на них оглядывались. Полы плаща разлетались, походка независима. Придерживая ее за локоток, экс-сержант нес сетку с продуктами. В шкафу Альберт отыскал его летнюю одежду и, несколько опережая сезон, был на ветру, как ангел – разве что слегка замаранный.

Он встретил их отчужденным стуком машинки.

– Писатель милостью Божьей, – приобнял его Альберт. – Когда-нибудь выйдет из подполья и удивит страну. Александр сбросил его руку.

– А может быть, и мир. *Vamos a la cocina...*\*

Запахи с кухни отвлекали от размышления о природе идеала, но перед тем, как сдать, он долго сглатывал слюну.

Инес снимала со сковородки мясо. Не в виде котлет, а одним куском – еще и с кровью.

---

\* Идем на кухню... (исп.)

– Это куплено в СССР?

– Инес, – кивнул Альберт, сдирая с водки станиоль. – Показала мне «Кулинарию» у станции «Проспект Вернадского». Туда завозят для испанцев.

– Каких испанцев?

– Испанцы там московские живут. Эмигранты той войны, их дети. Видел там красные дома? Квартал повышенной категории, но им не нравится. Буэнос-Айрес называют. Да, Инес? Мол, дует. А я бы жил. Зачем я не испанец? Ну что, друзья... Прекрасен наш Союз?

Она выпила одним глотком.

– Ого, – польстил Альберт. – Русский бой-френд научил?

– Русского не было.

– За все это время? Не поверю.

– Русские меня за женщину не принимают. В отличие от Парижа меня здесь даже изнасиловать никто не попытался. – Она засмеялась. – Там, где я снимаю, – сосед. Однажды схватил меня и все определил на вес: «Е...ть нельзя. Не тянешь».

Альберт поперхнулся.

– С-скоты...

– Нет, он по-своему душевный. Сначала зарубить хотел, потом мы подружились. А с русскими отец мне запретил. С кем угодно, только чтоб не русский.

– Русские разные бывают.

– Конечно. Вы, например, совсем другие.

– А кто ваш папа?

– Отец? Он литератор.

– Книги пишет?

– Статьи.

– Первая колом, – налил Альберт, – вторая соколом...

– А если уже первая, как вторая?

– Тогда вторая пойдет, как третья. Маленькими птичками.

– *Мелкими пташками*, – сказал Александр, не выдержав глумления полиглота над родным языком.

– Хорошо мне с вами...

Альберт добавил:

– Пьется.

– Пьется тоже. Потому что вы хорошие.

- Иногда.
- Не очень часто.
- И чем дальше, тем все реже.
- Увы.
- Нет, – упиралась она. – Таких я не встречала.

Альберт поднял брови на его взгляд: мол, что тут скажешь? Такой вот человек...

После кофе она отключилась. Он накрыл ее пледом – сразу всю. С ботинками и стриженной макушкой.

– Клубочком свернулась. Парижаночка. И где? В бандитском, можно сказать, притоне... – Глаза его увлажнились. – Идем, не будем ей мешать.

Александр мыл тарелки, он вытирал.

– Переутомляться ей нельзя. Сердечко.

– А что с ним?

– Ничего. Но с кулачок ребенка. Конституционно.

– Это она тебе сказала?

Горделиво Альберт кивнул.

– А про латино?

– Нет...

– Любовник у нее. Можешь себе представить.

– Ну и что?

Подав ему нож, Александр завернул кран.

– А ничего. Женщина как женщина. Со всеми вытекающими последствиями.

Упрямые слезы навернулись Альберту на глаза.

– Не для нас.

– Что за комплексы, сержант?

– Это не комплексы.

– Тем более, что все равно уедет. Так или иначе.

– Я умоляю, друг. Должно же что-то быть святое? –И отворачиваясь, прошептал:

– Пусть лучше так.

Соседи сверху били по трубе, но, стиснув зубы, Александр дописал введение до точки.

– Вот. Дон-Кихоту от идиота.

Когда она нагнулась, он коснулся ее затылка – кончиков волос. Щелкнул разряд. Он отдернул руку.

Засмеявшись, она подняла глаза.

– Последний кофе?

Альберт предупредительно вскочил:

– *No te muevas!*\*

Глаза Инес сияли чистой радостью. Теперь она успевала на встречу с Фердыщенко – научным руководителем диплома. После кофе она стала собираться. Утро, конечно, мудреней, но у нее масса неотложных дел. Включая выбросить салат «весенний», который перед визитом в Спутник она приготовила себе на вечер.

Последним автобусом она уехала.

Александр спросил:

– Доволен?

Стоя на краю ночи, они закурили. Слышно было, как автобус огибает Спутник. С веранды долетала музыка.

– Может, на танцы?

– На х...

У подъезда Альберт попросил пиджак:

– Схожу, пожалуй.

– На фингал не нарвись.

– Кто, я?

В чемодане с рукописями был димедрол. Александр запил таблетки ромом и ничком пал в запах парижанки.

Утром, входя в сортир, он отшатнулся и встряхнул мозги. Стены распирала какая-то бетонщица, с ногами влезшая на унитаз. Губы сложились сердечком.

– Писию, – сказала она так, будто за это будут бить.

В день закрытия Недели французского кино давали «Орфей спускается в ад». Высотное здание на Котельнической, где кино «Иллюзион», осаждала на солнцепеке вся Москва.

«Лишних билетиков» не досталось.

Вода в Яузе лоснилась, запыленная. Огибая высотку, приток неподвижно впадал в Москву-реку. Над ней торчали заводские трубы периода «первоначального накопления» – прямо напротив невидимого Кремля. От сознания, что юный Жан Маре уже начал inferнальный спуск, хотелось броситься с моста.

– Единственный был шанс.

– Может еще представится.

– Когда? Здесь однократно все.

– Зато infernum за каждым углом. Пошли...

---

\* Не двигайся (исп.)

– Куда?

– Зальем желание.

В «стекляшке» он развинтил гранатообразную бутылку. Александр смотрел, как наполняется стакан.

– Для меня, друг, это было, как глоток свободы... За нее. За все, что случилось.

– Чего не случилось.

Болгарский коньяк прошел с трудом. Над тележкой с грязной посудой жужжали мухи. Особенно зудела одна полойная, которая моталась по всей «стекляшке», невольно натываясь на клиентов.

Подсел мужик.

– Стакан, ребята, и взорву, что захотите.

– Чем?

– Чем скажете. Могу динамитом, могу ТНТ.

Не имея правой кисти, мужик заслуживал доверия.

– Неси.

– Всегда со мной. – Вынул из кармана складной стакан и, потряхнув, разнял. Извлек три сплюснутые конфеты «Мишка в лесу». Хватил «за то, чтоб они сдохли», развернул шоколадное месиво, ввел и отплевался от фольги. – Кого рвать будем? Еще полстолько и давайте адресок.

– Обратно партизанишь, Коля? – крикнула буфетчица. – Смотри, в дурдом заберут.

Красные глаза прослезились, когда Альберт набулькал.

– Ребята... Подорвусь, но выполню. – Он опрокинул. – Координаты. Еврей какой-нибудь богатый? Жить останется, но дверь снесу. Давайте. Кто заклятые друзья?

– Мы сами себе друзья.

– Вот именно, – сказал Альберт. – Свяжи нас, и по палке динамита в ректум.

– Только объекты. Людей не рву.

– А мы, по-твоему, кто?

– Субъекты, – сказал мужик. – Творцы истории.

– Складывай тогда стакан...

Вторую бутылку «Плиски» они развинтили в саду для занятий по ботанике.

– Первый раз я встретил человека, на котором бы женился. Не раздумывая.

– А я бы нет, – сказал Александр.

– И сразу же в Париж. Жена моя – Европа.

– Я против.

– Он против. Против чего ты?  
– Принципиально. Против брака. Писатель должен быть один.

– Может быть. А человек один не может...

Яблони осыпались. Они созерцали снизу этот снегопад, лежа голова к голове, когда во двор школы въехала клетка на колесах – милицейский «воронок».

– Стой!

Перемахнув забор, они ушли дворами и успели на сеанс в подвернувшийся кинотеатр. Бутылку допивали в заднем ряду. Танки шли ромбом.

– Миру – мир! – сказал Альберт.

На них зашипели. Поднявшись для аплодисментов Верховному Главнокомандующему, зал их разбудил.

– ГБ чем лучше? За пределы можно уехать и не в танке. Поскольку, – добавил Альберт, – терциум нон датур.

– Датур.

– В роли жертвы?

Под грохот победного продвижения на Запад они спали, пока не разбудила билитерша.

Потом они добавили еще.

Плечом к плечу они вошли в метро. Станция была незнакомая. Чтобы пройти на эскалатор, им пришлось расстаться. На ногах они устояли, но каждый завяз в своем пропускнике. Обрезиненные створки, норовя по ногам, сшибались с грохотом под сводами.

– Пройдемте.

Им заломили и за дверку – тут же на станции. Неприглядная дверка, но за ней – целое отделение.

– Студенты?

Они кивнули.

– Так. Будет вам высшее образование... Институт?

– Стали и сплавов, – нашелся Альберт.

– А ты?

– Тоже.

– Есть документы?

– Нет.

– У тебя?

Александр подал студенческий билет. В смежной комнате второй мусор говорил в телефон: «Битков, будь добр: машину к «Павелецкой». Ерунда тут, пара хипарей. Лучше скажи, как там в Тбилиси? Ну? А забил кто?..»

Первый поднял лоб со следом от фуражки.

– Какой же, б...ь, «Стали и сплавов», когда написано «МГУ»?

– А кто сказал «Стали и сплавов»?

– Он.

– Так не я же...

– Ты мозг мне не е... Фамилия?

– Буковский, – сказал Альберт.

– Не твоя – твоя.

– Там написано.

– Не русский, что ли?

– Русский. Почему?

– Не разбери-поймешь. Ан... Ан...

Александр взглянул на Альберта, который приспустил веко в знак, что *понято*. Поднявшись со скамьи, Александр шагнул к стойке – оказать помощь в прочтении своей затершейся за годы обучения фамилии. Второй все ликовал по телефону по поводу неизбежной, как ему казалось, победы ЦСКА над Всесоюзным обществом «Динамо». С понтом взяться для упора за стойку Александр протянул руку и выхватил свой документ. Мусор продолжал смотреть на пустоту в своих руках. Альберт уж вылетал за дверь. Александр не дал ей закрыться. По мрамору на улицу. Слево – где темней. В ушах свистело.

На тротуар за ними выскочили сапоги с подковами. «Стой! Стреляем!»

– Это вряд ли.

Грохот рванул за ними так, что уши по-заячьи прижались. «Мы же инвалидами вас сделаем!»

– А это могут. Разлетелись! – Как мальчик-самолет, Альберт раскинул руки и спикировал направо.

Изо всех сил Александр сучил локтями по прямой.

«Врешь, не уйдешь!..»

Неизвестная Москва была вокруг. Древняя. Слободская. Он отрывался, сворачивая за углы. Домик с подворотней. Он нырнул. Внутри полно людей. Бабки, девки с младенцами. От ударов домино по врытому столу подпрыгивал фитиль керосиновой лампы. «Спрячьте, – закружил он по двору. – Люди добрые». Но игроки поднялись, как один, прихватывая и поленья: «А ну, давай отсюда...» Пятясь к подворотне, он не верил: «Татаро-монголы же? «Салазки» загибают... Мужики, они ж убьют?» Но замахивался народ

всерьез, сливаясь в одну и ту же рожу ненависти и даже нагибаясь к топору: «Пшел!»

Из-под фонаря они оглянулись всей толпой: «Наш вроде?» Обеими руками натянули свои фуражки, и он услышал изнывающий их стон: «Ну, мы ш-ш тебя...»

Он взвизгнул. Он не поверил, что способен на столь унижительный звук. Но главное было – уйти.

Топот отставал за каждым новым углом лабиринта. По сторонам заборы, а под ногами осозналась вдруг земля. Москва, но как бы и деревня. *O rus!*

«Бабушка, – губами ловил он руки. – Бога ради. Не меня... Писателя спасите. Национальное достояние!» Белая тень в галошах сняла оплетку: «Лучок мне, Пушкин, не помни...»

Он услышал, как свернула по пятам машина. Щели в заборе вспыхнули. В свете фар пробухали сапоги, за ними ехал «воронок». Погоня стала моторизованной. Он лег ничком меж грядок. Там, за забором, они перекликались. Когда машина вернулась, над Александром возникли стрелки молодого лука – светло-зеленые. Что с рук по гривенник за пучок. Сердце отталкивалось, он его прижимал к земле.

– Перекур?

– Не буду. Спежся.

Сапоги остановились прямо перед ним. Их было много – запыленных. От машины подошли начищенные.

– Так что? Сквозь землю провалился? Физподготовке больше надо времени уделять.

– Товарищ лейтенант. Из-под земли достанем. Будет наш.

– Только чтобы это – ясно? Без следов потом.

Сознание включалось – как будто кто-то через него давал сигналы. Кому? Мерцали звезды, блестели рельсы. Сворачивал на шпанскую гитару. «Мусорка за мною ездит, – говорил. – Ребята...» В подвале валился на тюфяк с опилками. Вырезанные из «Советского экрана» актрисы в роли красавиц русской классики надменно взирали над девчонкой, которая тарачила свои размазанные, ей зажимали рот ладонью с поросшей рыжеватым волосом татуировкой, изображающей восход: «Сам понимаешь, друг. Прости...»

Проснулся Александр под наведенным орудием. Песок был влажен от росы. Из него вылез пластмассовый танк – с красными звездами на башне. Двор пуст, дом спит. Ясно



было так, что он схватился за очки. Их не было. Карманы вывернуты, но не внутренний. Он вынул записную книжку, заложенную карандашиком, и развернул на бортике детской песочницы. Не вспомнив дату, сделал на память запись: «*Май. Москва. Живой*».

Рельсы блестели вдаль под солнцем. Возвращаться предстояло «зайцем» – ни копейки. Услышав лязг на повороте, он рванул к остановке. Трамвай обогнал, но он успел в задний вагон.

Альберт не только был живой, но уже сходил и в магазин. В одиночестве он завтракал с большим аппетитом.

– Ушел? Чайку вот.

Взявшись за горячие грани, Александр покосился. Вдоль подоконника выстроились десять цыбиков «грузинского 2-й сорт».

– Куда ты столько?

– Похмеляться.

– Чаем?

– Гулаговским. *Чефиром*. – Под взглядом Александра он рассмеялся. – Я ж с Архипелага родом. Но служил не там. Не бойся...

– Стучат, – артикулировал Альберт.

– И деликатно.

– Я бы даже сказал, не по-советски. Вдруг Инес?

Попытка влезть в брюки не удалась.

Это была она.

В обнимку они отвалились.

– Перед испанкой благородной

двое рыцарей стоят.

Оба смело и свободно

В очи прямо ей глядят.

– *Mi amigo es un gran erudita\**.

Блещут оба красотой

Оба сердцем горячи,

Оба мощною рукою

Оперлися на мечи.

---

\* Друг мой – большой эрудит (исп.)

Лбами они влетели в стену.

– Пардон...

– Что с вами?

Багровый закат смотрел в глаза. Они распластались на матрасе. Инес стояла в позе сомнения.

– Неверно, – сказал Александр.

– Что?

– Интерпретируешь. Альберт?

– Это – дружба.

– Вижу.

– Мужская наша.

– Но несколько – как это по-русски. *Продвинутая* – нет?

– Это – кефир. Который не кефир.

Она не засмеялась.

– Понимаю.

– Три цыбика – стакан. Принял и ждешь. Придет ли?

– Кайф, то есть.

– И пришел?

– В пути.

– Ну, ждите, – она повернулась.

– Не уезжай.

– Осиротеем без тебя.

– В стране ГУЛАГа...

Альберт перевернулся лицом в подушку, Александр остался глазами к потолку, где догорал закат.

Ночью она вернулась.

– Вы еще живы?

Она прижала палец к вене над ухом Александра. Потом перешагнула его и опустилась на колени, имея Альберта между бедер. Взялась за его трапециевидную.

– Расслабься.

Она была в пижаме, застегнутой у горла. Она наклонялась и откидывалась. Ноздри болезненно затрепетали на теплый запах французских духов.

– Мерси, – пискнул Альберт.

– Теперь тебя. – Чернота глаз смотрела сверху. – Ну? На живот.

Шея от этого вывернулась. Она его оседлала. Остановившись, сердце забило в паху. Он подмигнул Альберту, который закрыл глаза. Ладони были у нее сухие и горячие. Когда они шли вверх, он слышал, как натягиваются пижамные штаны. Они шли вниз, он обмирал, кожей поясни-

цы осылая испарение жара сквозь натянутую ткань. Убрала ладони, она села на него всем весом. Она смотрела в окно.

– Полнолуние.

Он остался лежать ничком, когда она ушла и чиркнула в гостиную спичкой. Оба его сердца толкали к действию.

– Идем, Альберт?

Молчание.

– Тогда я сам.

Но он притворился спящим, а в одиночку Александр не рискнул.

Усиленная интеллектуальная активность следующей недели подобной оказии уже не предоставила.

– «Идиот», – говорил он без отрыва от машинки, – в буквальном переводе это просто человек. Отдельно взятый. Честный. В этом смысле «идиотизм» по нашим массовидным временам состояние, близкое к идеальному. Христос, Дон-Кихот, князь Мышкин, да и сам ваш Унамуно – это все агонии христианства. Сейчас, в период пост-, пред- или, не знаю, внехристианский, в агонии то, что еще остается у нас. Идиотизм. Партикулярность человека. Которая с юностью обычно и кончается.

– *Mi amigo se apasiona par el misticismo*, – встретил Альберт. – *Vamos a la cocina...*\*

Но она воспламенялась.

– Дон-Кихот умирает, потому что отказывается от борьбы. Испанец понимает агонию не так, как вы. Для вас агония – капитуляция. Форма умирания. Для Унамуно – это борьба. *La agonía es lucha*\*\*.

– *Lucha* с чем?

– Со смертью. Сама жизнь, по Унамуно, это ансамбль систем, которые сопротивляются.

– А мы сопротивляемся, – обижался Альберт. – Внутри себя.

– Наверно, очень глубоко внутри. Снаружи незаметно. А с Запада так выглядит, что вы уже сдались.

Экс-сержант ГБ выявлял мускулатуру шеи в знак несогласия.

– Ты им там передай. Мы боремся.

– За право на идиотизм, – добавил Александр.

---

\* Мой друг увлечен мистицизмом. Идем на кухню... (исп.)

\*\* Агония – это борьба (исп.)

Сумку с книгами и кое-как засунутой пижамой Инес уже вынесла к двери. Пока он допечатывал список использованной литературы, Альберт приготовил прощальный обед. Водка, селедка. Масло, черный хлеб. Молодая картошечка с укропом.

Уже пришло лето.

Когда они начинали говорить не по-русски, он смотрел в окно. Во дворе мальчишки пинали мяч. Сразу за полоской асфальта был пустырь в проплешинах, бабочках и одуванчиках, он отлого спускался к избам вдоль невидимого шоссе, а дальше поднималась насыпь железной дороги. Бедный вид, но извращенно Александр его любил. Глаза вернулись из простора, ставшего за годы конспирации родным, и он увидел, что на дорогу выкатился мяч, который догоняет мальчик. Одновременно слева в поле зрения влетела машина. В этом «спальном» городе таких Александр еще не видел – официально-черных. Она шла с такой вседозволенной скоростью, что он задержал дыхание. Мяч перебежал дорогу. Мальчик не успел.

Его подбросило. Сверкнув на солнце, машина скрылась. Мяч еще добегал в одуванчиках.

Мальчик лежал на асфальте.

– Что ты, друг?

Александр опрокинул свою водку. Глядя на него, Инес взяла пачку, но сигареты кончились. Когда Альберт вышел, она пересела на его стул. Она улыбнулась, он опустил ей на плечо ладонь. Они стукнулись резцами и оказались на ногах. Боковым зрением он видел, как на ходу Альберт срывает с пачки целлофан и каменеет с открытым ртом.

Извне раздался крик.

Как в танго, он повернул испанку и, подхватывая на руки, еще увидел, как неохотно Альберт отвлекается в окно.

– Кажется кого-то сбило...

Но их уже не было.

## **ЗНОЙ**

– Это агент. Что ты смотришь? Информатор, провокатор, шпион... Агент.

– Да?

– Вне всякого сомнения.

С порога я вернулась. Это было перед свиданием, на котором я рассталась с тем, что называют «невинностью». Крови было мало, разочарования больше, чем удовлетворения – причем, скорее интеллектуального: отныне ты, как все. Но так или иначе: *первый мужчина*. Еще не состоявшийся, уже подозреваемый в шпионаже. Причем, давно и молча. Первое письмо из Польши мне было вручено во вскрытом виде. Я нашла в этом не просто насилие над личностью, а садизм – потому что читать по-польски он все равно не умел. Цензурой он больше не занимался, хотя из Польши обрушился поток писем и бандеролей, из которых собралась целая библиотечка – от Норвида до Марека Хласко.

– И на кого же он, по-твоему, работает?

Ответил он гениально:

– Это не так уж важно. Чем он здесь занимается?

– Костел реставрирует.

– А живет?

– У его шведских друзей здесь *pied-a-terre\**.

– Где ты с ним познакомилась?

– В Гданьске.

– Кто он?

– Студент.

– А в Париже как?

– Приехал.

– Так вот – сел на поезд?

– На паром. Он через Швецию. Там у него друзья. Он попросил, чтобы друзья пригласили. Друзья пригласили.

– И его выпустили? Из лагеря социализма? Ты там была, но ничего, как я вижу, не поняла. Возможно, ты даже полагаешь, что все это путешествие из одного мира в другой предпринято ради твоих красивых глаз.

Зная, что за мной признается только интеллект, я не ответила. Униженно молчала.

– Тебе скоро восемнадцать. Как можно быть такой наивной?

– Я не думаю, что он агент. – Я не смогла удержаться от своей маленькой мести. – Ему на все на это наплевать.

– Ах, наплевать? Такой аполитичный. Может, он с Франко той же веры?

---

\* Квартирка на случай приезда (фр.)

Я удержалась и ответила, что он *nadist*\*

Но это тоже оказалось плохо.

– Все они там такие, – сказал он. – Ни во что не верят. Лучший питательный бульон для вербовки.

– Он не агент, говорю тебе. Обычный парень.

– То есть, ты даже возможность исключаешь? Тогда прекрасно. Иди. Но помни, что на карту своих низменных страстей ты поставила тридцать лет борьбы с фашистской диктатурой.

Збышек вернулся в Польшу. Он написал, что ушел от родителей и живет теперь в Кракове. В его келье жутко холодно. Просил прислать свитер. Я должна была просить деньги даже на метро. На свитер для него я не могла. В ситуации, когда мать десять лет ходила в одном и том же плаще, а отец был вынужден курить «голуаз» и вместо пиwa в кафе заказывать кофе. Я одолжила у Симон. В последнем своем письме Збышек благодарил, хотя, писал он, свитер оказался на несколько размеров больше.

Когда я вернулась из Москвы на первые каникулы, все мои личные бумаги были снесены в подвал, где их к тому же затопило зимой. Возможности опереться на документы нет, поэтому история первой любви остается еще более туманней, чем тогда, когда, изведав объем своей несвободы в так называемом «свободном мире», я подбирала в Латинском квартале свитер на предмет иллюзии, мечты, кошмара – но только не на реального человека, которому там, на Востоке, было холодно.

Инес дышала жаром. Рот ее обветрился и вздулся, как апельсиновые дольки. Не найдя застешки, он разорвал в отчаянии, но было поздно – сосок ускользнул.

– Я так хотела, что не могу сейчас.

Через полчаса он пришел к выводу, что это ему не слышалось. Голова ее лежала у него на плече – там, где, как у каждого военнообязанного, у него имелась выемка для приклада. Утопив плечо, он переложил ее головой на подушку, она повернулась к стене. Уснула она в ботинках – с сине-бело-красными ярлычками в швах заношенной замши. Он расшнуровал и снял – благодарно ноги поджались. Он ее укрыл половиной вытертого шерстяного одеяла.

---

\* Нигилист (исп.)

В прихожей все так же стояли ее вещи. Из сумки виднелась скомканная пижама и затрепанное по краям латиноамериканское издание *Del sentimiento tragico de la vida\**.

Альберт отскребал нож.

– Зачем она тебе? – От раковины он не повернулся, но голос его сломался. – Ты же не любишь Запад...

Пряча лицо, он пытался мокрыми руками зажечь спичку. По стакану с водой, который Александр поднес, ударил так, что от стены осколки брызнули. Схватил бутылку, добулькал из горлышка. Закурил.

– У нас был равный шанс.

– Да? У меня и в мыслях не было... *Грязи*. – Всклипнув, он ударил по столу. – Прекрасная леди, я думал. Хотя знал уже, знал умом, что под юбкой все они... Прав был Лев Николаич, ох, был прав. Кроме п...ы, нет у них сердца.

– С кулачок.

Альберт побелел.

– Уйди. Убью...

– Сержант! Возьми себя в руки.

– Этим вот ножом. До трех считаю...

– За что?

– За все! Раз. За твой цинизм. Два... Сигареты можешь взять. Два с половиной... – Кулак с ножом взбелел костяшками. – Ну, я тебя прошу... Зачем нам, друг? При иностранке?

Ожидая удара в спину, Александр повернулся.

В спальне он тихо открыл шкаф, вынул туристический топорик, сел на линолеум и привалился к двери.

– Почему ты спишь на полу?

Инес стояла над ним, одевшись среди ночи.

– Куда ты?

– Мне нужно позвонить.

– *Сейчас?*

– Ты спи. Скажи только, где найти телефон.

Под дверью гостиной полоска света – Альберт не спал. Они вышли на площадку и в тишине спустились.

Полы плаща разлетались от толчков колен, подошвы шаркали по асфальту: ш-шу, ш-шу. Уже не слышно даже

---

\* «О трагическом ощущении жизни» (исп.)

электричек. Невероятно, что столица полумира всего в полчаса – такое чувство оторванности на этом астероиде в ночи. Описав петлю вокруг призрачных блочных коробок, они вернулись на исходную улицу Космическую.

– Нет здесь телефонов. Утром из Москвы?

– Сейчас.

На горизонте подмигивали огоньки, но путь к ним через свалку. По обрыву они спустились в зону небытия, куда горожане сбрасывали мусор, а завод – свой железобетонный брак. Александр отпрянул. Кто-то нацепил использованный презерватив на арматурный прут – ржаво-ребристый. Под ногами запрыгали доски над ручьем, в котором струились жуткие водоросли – неподвижно и пузыристо. Натоптанная горожанами тропка вывела их на обулыженную дорогу, которая поднималась к домам у станции «Подсолнечная». Кабину они увидели на пустыре под телефонным столбом. Каркас двери отворился со скрежетом, но автомат работал. Сквозь проем, окаймленный остатками стекла, он протянул наружу трубку на цепи.

– Дай номер, я наберу.

Сунув руки в карманы, она повернулась в профиль и прищурилась.

Он повесил трубку.

Ночь была безлунная, такая глухая и такая безнадежно русская, что он остановился на булыжниках, как вкопанный, когда она заговорила по-испански. Резко, хрипло. Такой жесткости он в ней не ожидал. Скрежетало битое стекло, на котором ее подошвы искали опору в поединке с невидимым Кинг-Конгом.

Сердце сжалось, когда на дорогу соскользнула ее тень подростка.

Он зажег свет на кухне.

В стол был воткнут нож – и не столовый, а садовый. Простой формы, но длинный и широкий – с оленьим черенком.

– Зачем он это?

Александр оторвался от струи из-под крана.

– От избытка чувств.

Она расстегнула свою клетчатую рубашку навывпуск. Парижский ее лифчик связан был узлом. Это он порвал в отчаянии – не найдя привычной застежки на спине. Она



выдернула нож, завела под узел и, как бритвой, разрежала черный нейлон. Соски стояли. Он сделал усилие, чтобы не сглотнуть.

Но в спальне она запахла рубашку.

– При нем я не смогу.

– А с ним?

Она засмеялась.

Но свет в гостиной освещал отсутствие. Перед уходом Альберт швырнул на пол белые одежды – парусиновые штаны и рубашку. Александр втянул штору, закрыл окно и выключил свет.

Его встретил огонек сигареты.

– Слинял.

– Куда?

– Отсюда и в вечность.

Она засмеялась.

– Я думала, вы друзья.

– Как говорит твой Унамуно, все кончается не только в этом мире, но, может быть, и в том.

Он был уже голый. Он лег. Она положила подушку и села.

– Знаешь, кому я звонила?

– Догадываюсь.

– Я порвала с ним.

Александр стало не по себе.

– Он кто?

– Обычный мачо.

– Что ты ему сказала?

– Что изменила.

– А он?

– Что убьет.

– Тебя?

– Это не в традиции испанидада. Тебя. Просил твои координаты. Я не дала.

– А надо было. Спустил бы с лестницы.

В ее молчании был скепсис.

– Что?

– С ним лучше не встречаться. На все способен.

– Я тоже.

– Он уже убивал.

– Где?

– В Боливии.

– А здесь что делает?

– Международное право изучает. Официально...

– Так или иначе... *Enfin seuls\**.

Наверное, акцент – она рассмеялась. Расстегнула джинсы и, выставив колени, взбросилась, чтобы стащить с трусами заодно.

Момент проникновения разрушил Александра.

Ее бедра пылали. Спрессованные волосы еще не отошли, и эта обманчивая под ними среди них уступчивость. Испанка была переполнена медом. Под исчезающий стон он ощущал, как ему склеивает волосы, заливая его по пояс, с головой. Она молчала, выдыхая кратко, редко. Предварительно познав ее, он кончил не вынимая и ужаснувшись: что я делаю?

Но пути назад не было. Теперь только вперед.

Сознание возвращалось вспышками. Он комкал простыню, спеша догнать по бокам и утирая живот, слепящий влажной ямкой. На него взглянула луна. Бедра ее сияли белизной, пятно волос искрилось, как муравейник – живой чернотой.

Мелькнул локоть, она втянула сквозь зубы воздух.

– Больно?

Она засмеялась.

Ближе к стене линолеум был пыльным. Он бродил, всем телом чувствуя, как белеется оно, тело, сквозь почему-то вдруг безлунный сумрак, передвигался вслепую, как вedomый ее глазами, наблюдающими его наготу, потом вдруг наступил на пупырчатость резины вокруг железа. Подобрал топорик, он не понял, отчего она забилась в угол, выставив колени.

– Холод, – услышал он свой голос. – Нужен холод.

Упираясь, она пригнулась под плоскостью наложенного на затылок металла. Набила шишку. Матрас исчез вдруг, она стукнулась об стену. Он забыл, что за пределами события где-то вдали у них еще есть головы.

Взмокшую свою он потерял.

Било солнце, когда он отпал и ощутил свою небритость. Вернувшись, она опустилась на колени, но не легла, облокотилась о плоскость стены. Простыня измочалилась, он перевалил себя на бок.

---

\* Наконец одни (фр.)

– У тебя красивые плечи, – сказал он, любуясь этим вздернутым по-африкански круглым задом.

Она не отвечала, занимаясь чем-то лицом к стене. Поэтесса, что ли? Или молитва? Темный какой-нибудь их ритуал? Своей шариковой ручкой женщина, и отнюдь не Востока, выписывала на затертых обоях столбцы. Наконец ее пятки вдавились в ягоды – она подвела черту.

– Что это?

– Дни.

– Какие?

– До конца моей визы.

Отправ, он ответил половиной рта:

– Умножь на ночи.

Хлеб зачерствел, потом он кончился. Кофе тоже. Потом и чай. Кончились сигареты. Потом заначки. Потом бычки. Осталась только вода из-под крана.

Нечем стало кончать.

– Так нельзя, – сказала она. – Надо сделать перерыв.

Локти он стер до сукровицы.

Потом до крови...

Вид был все тот же. Труба теплоцентрали, провалы окон в белесых коробках напротив, совхозное поле с божьей коровкой того, что осталось от часовни – перед этим образом он чувствовал себя, как в фантастическом романе. *Возвращение со звезд.*

Уже совсем светлое, небо вдруг стало темнеть. Вспыхнул зигзаг молнии – бесшумно. В гостиную вошли босые шаги. Завернутая в простыню, она наклонилась в окно.

– Хочешь, выброшусь?

Обнажив ее, он взмахнул простыней над запыленным линолеумом. Гром сотряс этот карточный домик. Волна ливня отхлынула, оставив их на хлюпающей простыне. Пятки ее заскользили у него по спине. Это было, как любоваться резаной раной. Поддерживая ее тяжесть ладонями, он поднялся. Она уцепилась за шею. Нахлесты дождя заливали обоих, огибая проникающий поцелуй. Под языком все рвалось и сводило, когда она вскрикнула, кончив ему в рот. Соскользнув, она сжала коленями его ребра. Чтобы войти, на мгновение он снял правую руку с ее ягоды. Она обня-

ла его и запрокинулась. Ливень мял ее груди и струился с волос – бесконечный.

И еще было утро. Застегнувшись с усилием, он приоткрыл – с топором за спиной. Уполномоченный по дому навел всеобщий ужас рассказами о сыне – шофере в Кремлевском гараже. Но для Александра он был гарантом существования.

– Обрато бумага на тебя пришла.

Просунутого в щель рубля уполномоченный не взял.

– Не менее, чем на три шестьдесят две. Все жильцы подписали...

В спальне он объяснил:

– Местный налог. У меня не хватает.

Одолев сложность парижского портмоне, он вернулся с листочком из тетради в клеточку.

Только глаза от Инес и остались.

– С милицией требуют выселить. Это серьезно?

Он выдержул, разорвал.

В мусорном ведре под раковиной сдохла мышь. Бедняга не нашла ни крошки.

Она вышла на звон собираемой стеклотары.

– У меня же деньги есть?

Выйдя на солнце, он покачнулся.

В магазине были яйца.

– Пять, – показал он.

– Штук?

– Десятков...

Хохот тряс груди. Опираясь на швабру, беззубо смеялась уборщица.

– Паэйя, – объявила она. – Омлет по-испански...

Он подложил ей подушку.

Кофе, сигареты.

Глаза засияли снова.

– Можно я поживу здесь?

В буквальном смысле спать в паре он терпеть не мог. Сны в одиночестве были ярче.

Она засмеялась.

– Надолго я не задержусь.

Она приняла душ, оставив обмылок ему на бритве. Окровавившись, он держал скулу под водой.

– Привезу тебе новые лезвия.

За спиной у них бабка не удержалась: «Срам, говорят, творят такой, что прости Господи». Другая плюнула.

Прохожие останавливались и смотрели вслед.

В Москве они вышли из автобуса и спустились в метро. Пассажиры напротив уставились, как по команде.

Инес поехала дальше, он вышел на станции «Университет» – первый ее советский...

На почте Александру выбросили письмо от бабушки.

«Твоя мать пишет, что завел любовницу, нанял квартиру. Не дело делаешь. Прошу как последнего из рода: опомнись, внучек, и возьмись за ум. Выключат из студентов, что будешь белать?» Даже вложенный червонец не обрадовал, хотя по пути в зону он сообразил, что бабушка в виду имеет предшественницу: до Питера слухи дошли только сейчас.

В кабину вошла сокурсница, брошенная чилийцем. В свое время она так и не добилась от Александра (который не мог тогда с холодным сердцем) ответной оральной услуги. «Смотри, ее отец тебя уничтожит». – «Чей отец?» – «Но ты же, говорят, отбил у Иванова его прекрасную полячку?»

При виде Александра Иванов вскочил.

– Где она?

Он сбрил усы, и лица на нем не было.

– Кто?

– Ты не темни. Она жива, по крайней мере?

– Вполне.

– Еще смеется. Надеюсь, ты ее не изнасиловал?

– По обоюдному согласию.

– Ну, друг...

– А что?

– Паника, что. Иностранка пропала. С факультета ходили по комнатам, спрашивали. Вот отчислят, узнаешь, как играть с огнем.

Александр сел.

– Но ты же с Полой – и ничего.

Иванов убрал глаза.

– С пальцем не сравнивай. Пола – соц. И она уже в прошлом.

– То есть?

– Штатника себе нашла. Зубы вставные, но USA. А я, м...к, остался без усов.

– Вырастут. И впереди еще сто стран.

– Если даже Польша такая развитая, то я просто, друг, не знаю. Не вернуться ли в свои пределы? Кстати, и тебе советую.

Александр улыбнулся.

– Я понимаю, у самого итальянка была... – Иванов вздохнул. – Апостериори, я на твоём бы месте знаешь, что сделал бы сейчас? Трахнул кого-нибудь из наших. Для равновесия.

– Было б чем.

– Смотри. Главное, во всяком случае, чтоб без любви. А то она ф-фью, – ладонью он изобразил взлет самолета. – А ты останешься. Но не таким, как прежде. На краю.

В соответствии со своими установками Александр ответил, что ищет в этой жизни именно и только этого:

– Я всегда на краю.

– Когда-нибудь сорваться можно... Между прочим. Дружок твой экзистенциальный – помнишь, первый курс? Альберт Латузко?

– Ну?

– Приказом по факультету восстановлен. Только теперь с ним дела лучше не иметь.

– Почему?

– Говорят, видели его – держись за стену... В погонах голубых. Метаморфозы, да?

По пути вниз в кабину вскочил знакомый араб. Несмотря на свой дефект – висюльку на веке, он пользовался здесь успехом. «Надо было парижанку мне искать в Москве, а не в Париже. Поздравляю». – «О чем ты?»

Веко с висюлькой ему подмигнуло.

«Когда уезжаете?»

Под резонанс центральной зоны Александра повело. Это было на самом оживленном маршруте через университет. Он обогнал колонну и, скрывшись из виду, припал скулой к шлифованному граниту. Холодный пот смочил виски. Он представил над собой всю тяжесть сталинского здания – его стошнило. Но натошак от спазмов в поле зрения моталась только нитка слюны.

– Что с тобой?

За плечо его взяла знакомая с журфака. К груди она

прижимала банку венгерского лечо. Сорвав нитку, он вытер пальцы о колонну. Это была рослая блондинка с синими глазами и маленьким ртом. Под белой юбкой, как помнилось ему, все было без затей – пресно, но просто.

– Алена, – сказал он. – А давай поженимся?

В конце прошлого года, отправив свою любовь в провинцию, Александр вернулся в общежитие и среди прочего попробовал воскреснуть посредством спорта. В новогоднюю ночь, обежав по периметру весь университет, он обмяк на поручнях в лифте, куда успела ввалиться целая толпа ночных конькобежцев.

К нему придавило девушку. Спортивные брюки в обтяжку были гладкие, как атлас. Высокая и статная, к груди она прижимала при этом пару хорошо отточенных коньков. Отдавая себе отчет в том, что она способна разmozжить ему череп, Александр высвободил руку и огладил атласный зад. Никакой реакции. Отморозила, что ли? Но на табло вспыхнул очередной этаж, и зад вдруг повернулся, предоставляя его ладони возможность соскользнуть в промежность. Это было столь неожиданно, что он отдернул руку. От этажа к этажу лифт пустел, но вместо того, чтобы сделать шаг вперед, конькобежица все так же лежала на Александре. К 16-му они остались вдвоем. Толкнувшись, она выпрямилась. Он вышел следом. Не оглядываясь, но, конечно, слыша его шаги за спиной, она стащила вязаную шапочку, тряхнула русой головой. Жила она не здесь, а на 15-м, где, как на нечетном, лифт не останавливался. Он свернул за ней во тьму лестницы, скользя ладонью по перилам, спустился двумя маршами (вступив при этом в пьяную блевотину) и в коридоре увидел, что она входит в блок.

Дверь она не закрыла. Он прошел мимо этой щели, вернулся. Стекла комнаты справа светились. Он нажал ручку левой, темной. Она стояла, скрестив голые ноги и оттягивая вниз свитер.

– Как тебя зовут?

Она закрыла ему рот ладонью, которую он укусил.

Это было поперек дивана. Поверх низкой деревянной спинки был никелированный поручень, за него она держалась. Зад у нее был холодный. Потом свитер стал липнуть к коже.

Она обернулась, когда он кончил на пол.

– Зачем?

Имени конькобежица не сказала. Но через пару дней он узнал – при обстоятельствах, типичных для здания на Ленинских горах.

Опять же ночью он вышел из кабины и натолкнулся на Иванова. Итальянцы строили автогигант на Волге. Иванов год провел там переводчиком. Имея за ухом лакированный мундштук, он сидел возле урны и собирал на лист бумаги курительные бычки.

Александр вынул пачку.

– Друг! – вскричал Иванов. – Еще не выгнали?

– Держусь.

– А где прописан?

– В башне.

– Там же сейчас, как в холодильнике?

– Не говори.

– Давай ко мне! Наветренная сторона. Давай, поехал.

Вместе с постелью Александр прихватил из башни найденную во время ночных блужданий картонку с американскими журналами.

– «Плейбоя», к сожалению, нет.

– А зачем? Омниа меа мекум порто. – Иванов вытащил чемодан, из чемодана пакет, а из пакета пачку снимков. – Только между нами?

Вьюга билась в окно. Странно было под этот жестокий вой увидеть их наготу. Александр прилагал усилия, чтобы не дрожали руки.

– Чем ты их?

– «Любителем».

Профессионалом он и не был – черно-белые снимки выглядели серыми. Но были вполне разборчивы. Александр сдерживался, чтоб не присвистнуть. Иванов всегда казался ему тихим, но еще до Тольятти – всего за три курса – он умудрился перещелкать пол-общезития. Одетая была только одна – в купальный халат. Задрав ногу на стол, она лакировала ногти – и в этой позе он ее снял. Брови подняты над сползшими очками.

– Джиана.

Александр оторвался.

– У тебя была иностранка?

– Друг.. – Иванов вынул из-под усов мундштук и отвер-



нулся, чтобы скрыть блеснувшую слезу. – То была любовь. Единственная в жизни.

– А что с ней стало?

– Разрубили по-живому. Еще расскажу, смотри...

Вот тут он и увидел конькобежицу. Единственная в пачке она согласилась раздвинуть ноги. Она позировала против солнца, но Александр узнал эту отрешенность – наклон головы, взгляд искоса.

– Знаешь ее?

Он мотнул головой.

– Зовут Алена. Заочница с журфака. Всегда согласна, только попроси.

Закрыв на ключ одну из комнат зоны «В», где ее пропи-сали на время летней сессии, Алена поставила банку лечо на стол.

– Не бери меня ты замуж, я тебе и так уж дам уж.

– Кроме шуток, – сказал он, глядя, как она снимает юб-ку, оставаясь в белых трусах.

– Тогда открой мне банку.

Она сняла свою полосатую рубашку с короткими ру-кавами. Все это она повесила в пустой шкаф. Взяла алю-миниевую вилку, села с ногами на стул и раскрыла в ожи-дании американскую книжку *On Investigative Jour-  
nalist\**.

– Черт!

Отбросив нож, он вынес руку под холодную воду. Прис-лонившись к косяку, Алена скрестила свои ноги.

– Банку без крови открыть не может. Тоже мне муж.

– Я серьезно.

– Не смей меня. Советский брак? Для этого я слишком люблю свободу.

Белый «мерседес» у подъезда был окружен зеваками, которые пугливо обернулись на Александра.

Он взлетел.

В прихожей пара чемоданов.

– Инес?

Молчание. Он взял топорик и открыл дверь в гостиную. Инес сидела за столом с его пишущей машинкой.

---

\* «О журналистике дознания» (англ.)

– Я не одна...

Высокий мулат поднимался навстречу с протянутой рукой.

– Анхель.

Александр положил топорик на журнальный столик и ответил на рукопожатие. Глаза Анхеля прожгли его насквозь. Они сели друг напротив друга. Анхель протянул руку к топорiku:

– Можно? – Попробовал лезвие. – Китайский?

– Советский.

Инес поднялась.

– Кофе?

Не оборачиваясь, он кивнул. Мулат добавил, чтоб покрепче, и отложил топорик. Глядя, как Александр вынимает пачку «Явы», он расстегнул льняной пиджак и вынул пару серебристых баллончиков.

– Гавана. Бери-бери.

Александр отвинтил, в ладонь выпала черная сигара.

– Дай я тебе...

Гильотинкой на цепочке мулат обрезал ему кончик, потом себе. Прибор он заложил в прорезь у пояса.

Спички у Александра были свои.

– Кастро и Сартр! – Инес расхохоталась. – С такими же сигарами на фотографии...

Они молчали.

Она перестала смеяться.

– Кофе кончился. Я спущусь?

Хлопнула дверь.

Они пускали друг на друга дым.

– Тянется хорошо?

– Нормально, – ответил Александр, чувствуя, что легкие спекаются, как кокс.

Мулат перешел к делу:

– Как говорят ее французы, сэ ля ви. Извини, что я пришел. Наверное, не надо было.

– Ничего.

– Я к ней серьезно относился. Че? Я готов был даже жить с ней в мелкобуржуазной Франции. Жениться собирался... Скажи мне, ты серьезно к ней относишься? Потому что она к тебе серьезно.

– Откуда ты знаешь?

– Че, она мне сама сказала. Какие у тебя планы?

– Планы... – Александр откашлялся. – Через два месяца у нее виза кончается.

– А у тебя когда?

Он фыркнул.

– У меня бессрочная.

В глазах мулата возник интерес.

– Чем это ты заслужил? Какой имеешь паспорт?

– Советский.

Толстые губы приоткрылись. Он отогнал дым.

– Разве ты не скандинав?

– Она не сказала?

– Ничего она мне не сказала...

– Русский я.

– Советский паспорт?

– А какой же.

– Тогда не понимаю... Че? Ничего не понимаю! У меня, например, шведский. – Прикусив сигару белыми зубами, он вынул, пролистал страницы, заштампованные визами. – Видишь, написано? Открыт весь мир. Три-четыре страны меня не очень любят, но в Европе мы с ней могли бы жить в любой. Ты можешь дать женщине страну по выбору?

Александр молчал.

– Потому что здесь она не сможет. Нет, че... Твоя квартира?

– Снимаю.

– Но сам москвич? Прописка постоянная?

– На срок учебы.

– Аллес клар. – Под тяжестью сигары пепельница упала на бок. – Через два месяца я уезжаю в Германию. До этого она знает, где меня найти. Скажи ей, когда будет уходить, что Анхель ждет. Потому что она уйдет. Ты это понимаешь?

Он кивнул.

– Ты тут, Алехандро, не при чем. Просто страна такая у тебя. Я вот из Латинской Америки. Там у нас *жизнь*. Ты понимаешь? Даже при кровавых хунтах. Здесь все правильно, все хорошо. Социализм. Но жизни нет. Ты понимаешь?

Оса возникла в проеме окна. Поддержалась и отлетела.

– Че, как мужчина с мужчиной? Рублей девать мне некуда...

– Нет.

Мулат подержал руку в пиджаке и вынул.

– Смотри. Ее надо кормить.

– Как-нибудь.

– Тогда держись. Салют.

– Салют...

Выходя, мулат пригнулся.

Александр выбросил окурки и, взявшись за раму, смотрел вниз.

– Дым, будто здесь стрелялись...

– Где ты была?

– Поднялась выше этажом.

– Зачем?

– На всякий случай. Никто никого не убил?

Ее бывший вышел на солнце – весь в белом. Аборигены расступились, и «мерседес» сверкнул на повороте.

– Я так и думала. Цивилизованные люди.

– Смотри кто...

И Александр сунул голову под кран.

Она открыла чемоданы и взялась за ручку шкафа.

– Можно?

– Скелетов вроде не держу.

Внутри было пусто. Если не считать нейлоновой комбинации, которая задержалась на полгода.

– А это?

Кружева были заношены и местами оборваны. Предыдущая любовь купила ее на толкучке в Литве.

– Утехи фетишиста.

– Я выброшу?

– Выброси.

Лязгнуло мусорное ведро. Вернувшись, Инес вынула из чемодана пакет, распечатала и стала натягивать хирургические перчатки.

– Что ты собираешься делать?

– Уйди куда-нибудь.

– Куда я уйду?

– Тогда вынеси бутылки.

Он вынес и вернулся на закате – с библиотечным самоучителем французского языка.

Стянув перчатки, Инес бросила их в ведро.

– Разве не лучше?

Лиолеум сиял. На обоях в пустом квадрате остался гвоздик.

- А деревяшка?
- Убрала в сервант.

Он повесил обратно лакированную дощечку с выжженной паяльником березкой.

- Уродство же?
- А пусть висит.

Количество западных вещей его поразило. Дочь миллионера, что ли? Скрестив босые ноги на полированном столике, он наблюдал, как все это заполняет убогий встроенный шкаф.

Однажды в Минске на Круглой площади, где обелиск Победы, разгрузился автобус, полный иностранцев. Издалека Александр наблюдал, как сверстники клянчили у них жевательную резинку. Когда автобус уехал, а попрошайки убежали в парк, он подобрал на месте преступления облатку *Made in U.S.A.* Он наклеил ее в свой альбом спичечных этикеток – как называлось это извращение? Филуменистикой? Любуясь американской бумажкой, он не мог не думать в то же время о романе «Молодая гвардия». Где есть образ инженера, который стал работать на немецко-фашистских оккупантов. Учительница просила обратить внимание на то, как тонко Фадеев исследует психологию предательства, которое началось задолго до войны – низкопоклонством перед западными мелочами.

Чемоданы опустели. На боках следы содранных отельных наклеек. На ручках болтались бирки *Air France* – каким-то образом удержавшиеся в ее московских переездах. Инес их стала обрывать – не поддаваясь, бирки растягивали свои синие резинки.

- Оставь их.
- Почему?

Он и сам не знал, но срыванию авиабирок все в нем воспротивилось. Без них эти легкие на подъем чемоданы приняли бы слишком оседлый вид.

По ту сторону горизонта, видимого из спальни, оказался соснячок – столь же душный и вдобавок набитый консервной ржавью.

За щитом с надписью «Зона отдыха» открылось пространство, где загорал весь Спутник.

Из лабиринта тел они выбрались под елочки и в четы-

ре руки расстелили купальную простыню, которая, будучи парижской и лиловой, вступила в вопиющее противоречие с контекстом. Антисанитарного вида водоем внизу был набит людьми, которые стояли плечом к плечу. Вокруг – сплошное лежбище. Со вздохом Александр стал обнажаться. Травмированный в детстве праздничными демонстрациями трудящихся, боялся он толпы. Любой – включая отдыхающей. Но это был ход в борьбе за выживание, их вылазка на природу. Есть в это воскресенье было нечего. Она предложила компенсировать витаминами «Е». Которые бесплатно поставляет солнце. Он никогда не слышал о таких, он засмеялся. «Е» как е..?

Купальник на Инес был в обтяжку. Что вызвало в памяти картинку из «Детской энциклопедии»:

– Ты мне напоминаешь «Девочку на шаре».

– Все советские мне это говорят и думают, что комплимент. Но, во-первых, Пикассо я не люблю...

– Почему?

– Даже не знаю, что отталкивает, творчество или человек. Но у него много общего с отцом. Кроме своего брандбурга, он только с отцом встречается. Даже свою картину ему подарил. Валялась у нас, пока отец ее не отдал.

– Отдал? Это же миллионы?

Взгляд презрения не удержал его от расспросов:

– Куда, в музей?

– В фонд будущего Испании, – сказала она туманно...

– А Дали?

Этот предлагал построить вдоль дороги к Мадриду сплошной памятник из костей коммунистов. В моей семье имя лучше не произносить. Но мне ближе Дали. Не знаю, почему. Может быть, потому что однолюб. А знаешь, что он женат на русской?

Их накрыла тень. Александр успел перекатиться от смявших полотенец пяток. Крутозадая бетонщица, уводимая в лесок парнями, оглянулась:

– А говорят, мужики на кости не кидаются.

Но в почву не втоптали.

И за то спасибо.

По пути обратно она вскрикнула в тоннеле через насыпь. Он зажал ей уши. Они стояли, переживая гром электрички. Открыв глаза, она спросила:

– А ты бы мог во Франции?

– Что?

– Жить. Писать?

– Не знаю. Не могу себе представить.

Она нарисовала:

Какой-нибудь бидонвилль «Голуазы» без фильтра и вино.

– Французское, надеюсь?

– Но из пластмассовых бутылей. Такое солнце, как сейчас. И взгляд отчаяния.

– Отчаяния?

– А ностальгия? Все эмигранты впадают, но, говорят, что русские особенно...

Они перешли рязмякшее шоссе, обогнули заборы уцелевших вдоль дороги изб и в зоне тишины стали подниматься через пустырь.

Меж ног Инес сверкнуло солнце. Окна и двери в спальне и гостиной были распахнуты, но вместо сквозняка квартиру пробивал луч – гигантский, как в войне миров.

– Ты хочешь надеть это платье?

То, что прислала ей мать из Парижа, было не только мини, но и просвечивало от и до – откуда, из-под самой перемычки слипов, не сразу сходящиеся бедра пропускали треугольничек солнца, который резал, как алмаз.

– А что?

– Ничего, – ответил Александр, выступая в крестный путь отсюда к центру Москвы, которая даже в африканский зной отстаивала свой пуританизм. В образцовом городе коммунизма в постоянной готовности добровольная полиция нравов – из климактеричек сталинского закала и предположительно православных их матерей, ну абсолютно озверелых бабок. Инес демонстрировала полную невозмутимость, он же от бессилия перед вербальной агрессией в автобусе, в подземных переходах, в вагоне метро, на эскалаторе, на остановке и в трамвае совершенно изнемог.

Они добрались наконец до лестничной площадки, где исходило просто триумфальной вонью ведро «Для пищевых отходов».

Матраса, на котором простыни, как их ни подсовывай, завинчивались в мокрый жгут, Инес вдруг стало мало – или чересчур. Во всяком случае, ей захотелось увидеть его друзей. В компанию. Развлечься.

Она прислонилась к стене. Александр сменил свой кулак на каблук, и это возымело – к двери подшлепали босиком.

– Я с дамой.

Замок отщелкнулся, шаги убежали. Выдержав паузу, они вошли в московскую квартиру.

В глицерине линзы старинного телевизора, сцепившись руками, плыли навстречу Никсон и Брежнев – при выключенном звуке транслировалась встреча президента США.

Стены были из книжных корешков – до потолка. Из этой угнетающей библиотеки окно выходило на железнодорожный переезд, дорогу и женское общежитие. Александр взял старинный театральный бинокль. За окнами слонялись пэтэушницы в трусах и лифчиках – эротизированные дефектом стекол.

Инес нагнулась к фотографиям. «Раввины, его деды...» – «А Мандельштам?» С паспортной карточки в ужасе смотрел ушастый скворец в «бобочке» на молнии и с отложным воротничком. «Не Мандельштам. Его отец в эпоху Большого Террора...»

Перкин появился с женщиной. Мокрые и в халатах, они отпали на диван – отчего на старомодных его полках подпрыгнули слоники.

– Это Рая, – представил Перкин. – Рая уезжает.

– Рая умирает, – сказала Рая.

Губы у обоих синие.

– В «Человека-амфибию» играли?

Перкин качнул головой.

– В Сэлинджера.

– Литературу, – сказала Рая, – жизнью проверял.

– Помните, там извращенцы... – Перкин посмотрел на

Инес. – Вы читали *The Catcher in the Rye*?

– Еще в лицее.

– Царскосельском? – усмехнулся Перкин.

– Нет. Дидро.

Под взглядом Перкина Александр испытал гордость.

– Инес из Парижа.

Рая опомнилась первой – в смысле, что ой, а холодильник пуст!..

В гастрономе «Диета» Перкин впал в патриотизм, на-

---

\* «Над пропастью во ржи» (в русском переводе).



стаивая на «Рябиновой горькой». Еще они купили бутылку румынского рислинга, батон, селедочный паштет и зефир в шоколаде.

– Секс с иностранкой, это выход или вход?

– Вход. Но который выход.

– Что ты испытал наутро после первой ночи?

– *Ночи?* Эта ночь была в неделю...

– А все же?

– Как сквозь стену прошел.

Как бы зная об эффекте априори, Перкин кивнул.

– У них не поперек, конечно?

– Нормально. Вдоль.

– Влагалище и *вагина*. Сравнительный анализ?

Александр провел по всем параметрам.

– А в целом?

– Живое существо. И даже дышит.

– Нет? Впрочем, соответствует описанию Рабле. А как она... ну, фэр амур?

– Ты спрашиваешь...

В интервью французского певца Перкин вычитал, что парижанки с равным мастерством владеют всеми тремя отверстиями.

– И не говори...

– А кричит?

– Как кошка.

– На пленку б записать...

Даже в тени паштет уже растаял. Они сидели у дома на заградительном барьере.

– План такой, – придумал Перкин. – Звукоизоляция у нас хорошая, поскольку плохая. Вы остаетесь. Вы каждую ведь ночь?

– Естественно.

Он отправил Раю за магнитофоном. Они слушали Высоцкого, и Александр глотал слезы:

Ну что ей до меня? Она была в Париже...

Эффект «Рябиновой горькой».

В смежной комнате им уступили лучшую по качеству кровать. Были застелены хрустящие простыни. Фэр амур в чужом месте Инес долго не соглашалась.

Утром на нее смотрели, как на Мессалину. Войдя в ван-

ну, где при помощи указательного пальца Александр чистил зубы «Мятным» зубным порошком, Перкин понизил голос:

– Если серии криков соответствуют, то записалось, знаешь сколько? Двадцать один оргазм.

– Не может быть.

– Невероятная акустическая порнография.

Александр испытал зависть.

– Сделай копию на память.

– Квалифицируется как распространение. Будешь приходить ко мне слушать.

Во время чая зазвонил телефон. Выслушав, Перкин прикрыл мембрану:

– Хотите на Годара?

Инес не поверила:

– В *Москве*?

– Предупреждаю, сеанс подпольный.

Это было в обсерватории – где-то на краю Москвы. Поблескивая очками, сверху вниз на них смотрел битком набитый зал.

Ряд подвинулся, уступая место с краю Инес и Александру. Потом и под Раей с Перкиным отскрипели ступени.

В тишине кто-то пытался сдержать нервную икоту.

Свет погас. Внизу озарился экран. Французские титры навели на резкость, и невидимый голос произнес в микрофон:

– «На последнем дыхании»...

Инес стиснула ему запястье: «Мой любимый фильм!»

Переводчик звучал, как со сдавленным горлом. Инес стала переводить ему сама – горячим шепотом. На экране безмятежный утренний Париж, но вокруг обсерватории – как черный космос. Ощущение угрозы томило его. Предчувствие грозы?

Жан-Поль Бельмондо и Джин Себерг были уже в постели, когда в первых рядах головы повернулись к двери.

Которую вдруг вышибло.

– СЕАНС ОКОНЧЕН, – объявил мегафон. – ЗДАНИЕ ОКРУЖЕНО. ВСЕМ НА ВЫХОД И БЕЗ ПАНИКИ ПО ОДНОМУ В МАШИНЫ. ДАЙТЕ СВЕТ.

Экран погас.

– СВЕТ ДАЙТЕ.

Мегафон захлебнулся в темноте. Сверху обрушился весь зал. Вырвавшись из потной толпы, они прижались к стене за дверью. В тамбуре первые зрители навалились на кулаки, но под напором зала засаду вышибло наружу. Таких воплей Александр еще не слышал. Инес сжимала ему руки, ее трясло. Кто-то ложился под люпитры, но это не выход. Крики снаружи рассеивались. Зрителей было больше, чем кулаков у нападающих. Они протиснулись в тамбур. Фары машин били по входу, но их прикрывали те, кто был впереди. Потом свет ударил по глазам.

— Давай!

На асфальте чернела кровь, и под подошвами хрустели сбитые очки. Справа две тени вбивали третью в «воронок». Они рванули прямо на свет, где был проход между машинами. Человек в одной стал открывать дверцу, чтобы отрезать путь, но Александр вбил его обратно. За машинами было темно, из черноты клумбы бил запах взрытой земли, затоптанных цветов. Кирпичный бордюр рассыпан.

К ним бросилась тень.

— Стоять!

Александр схватил кирпич. Тень отшатнулась.

— Держи того, в джинсах!

Другая тень бросилась за Инес. Александр перемахнул клумбу. У плеча он сжимал кирпич, запачканный землей. Асфальт оборвался. Инес исчезла в черноте деревьев. Тень за ней ломилась сквозь кусты. По щеке Александру чиркнуло веткой. Тень обернулась.

— Ты, Петро?

Александр разрядился.

Инес он догнал у решетки. Добежав до первой пары разогнутых прутьев, они вылезли и спрыгнули на улицу. У остановки троллейбуса стоял на коленях человек, он зажимал лицо руками, черными от крови. Он дернул ее, они пробежали мимо.

Виадук. Снизу тянуло гарью, вдали блестел разлив рельс. Москва на горизонте сияла огнями.

На перроне метро толпились избитые пассажиры. Перкина с Раей не было. Он увел Инес к остановке первого вагона. Если облава, можно будет соскользнуть в туннель. В нем еще все дрожало.

Прилетел поезд, разомкнулись двери. Из метро они вышли на другом краю Москвы.

Без остановок пустой автобус летел сквозь ночь.

– Нехорошо, что мы их бросили.

Он промолчал.

– А тот человек?

– Который?

– Который за мной бежал?

Под ногтями все еще была земля от того кирпича.

– Что ты с ним сделал?

– Забудь.

Она отвернулась.

– Что?

Дома на матрасе она, игнорируя эрекцию, смотрела в стену.

– Жаль, фильм не досмотрели. Чем хоть кончилось?

– Не так, как в жизни.

– А в жизни?

– Он процветает, она погибла. – Инес уткнулась в подушку, плечи ее вздрагивали.

– Что?

Она не отвечала.

Наверху воспитывали девочку. Включили телевизор на полную громкость, но сквозь военный фильм все равно доносилось: «Мамочка, мамочка».

Теперь все тихо.

Ночь.

Я весь вечер смотрела на остановку. Пока вдруг не осознала, что из окна напротив все это время за мной наблюдают. Я не успела увидеть, кто. Он уже спрятался за занавеску. Еще было светло, надо было все бросить и вернуться в Москву. Но я подумала о нем: как он вернется, а никого здесь нет. Дверь в этой квартире можно вышибить одним ударом. Я заперлась на два оборота и заблокировала замок – он здесь английский. Зашторила все окна и стала ждать. За стенами отсмотрели телевизор, отвоспитали детей, отвозились перед сном. Пришел последний автобус.

Он не вернулся.

В жизни мне не было так жутко. Я пишу это в ванной. Единственное место, где я решила включить свет. Защелка здесь отлетит от одного рывка. Со мной топорик, но я не Александр. Я человека даже рукой не смогла бы ударить. Этот человек сейчас откроет дверь, без слов протянет руку.

Я отдам ему топорик, и он меня зарубит. Утром вернется Александр и вступит в лужу крови. Его арестовывают. Это не я, кричит он. Никто не верит. Суд. Расстрел. Вполне советский конец одной «лав стори».

Как я здесь оказалась?

Коллектив ждет, товарищ Ортега. Рассказывайте, как дошли вы до жизни такой...

А что я могу вам рассказать? На каком из языков? Я же не Александр. Не моноглот, ведомый лишь инстинктом выживания. Жизнь моя разбита на куски, и в каждом – целый мир. Ты думаешь по себе, что я, как ты? Нет. Я – это целая толпа. Нас много. Когда одна из нас с тобой общается по-русски, все прочие молчат на разных языках.

Мне рассказали, что в детстве у меня постоянно был ожог на лбу. От сигарет. Испанцы без перерыва курили на собраниях, куда меня таскала мать. Наткнувшись на свою первую сигарету, на каком языке я вскрикнула? Меня ставили на пол, я пела «Интернационал» по-каталонски. Но об этом тоже рассказывали другие.

Что помню я сама?

В Париже на кухне родители по ночам разговаривают. По-испански обсуждают непонятные дела. Доносятся слова: план Маршалла, ООН, НАТО, СССР. Десятки имен, из которых все время возвращается одно и то же – *СТАЛИН*.

Несмотря на то, что по моей просьбе дверь приоткрыта, мне страшно, как сейчас. На вбитом в шкаф гвозде плащ и шляпа. Я знаю, что это моего отца, но когда начинаю засыпать, плащ и шляпа превращаются в мужчину, который, притаившись, только и ждет момента, когда я засну. Что он со мной сделает тогда?

Второе воспоминание без эмоций. В саду под Парижем люди без лиц едят улиток, вынимая их булавками, среди которых, по общей бедности, мелькают вынутые из одежды английские.

По-французски я впервые заговорила среди друзей матери по Сопротивлению. Меня им отдали на лето. Своих детей у них не было, только огромная немецкая овчарка, которая служила в охране концлагеря, а после войны так и осталась во Франции. Собака меня охраняла. Ее звали Лили.

Во время моего отсутствия у меня появился брат Рамон. Я перешла на испанский, которому его и научила.

Первая поездка за границу. Чехословакия. В Праге нам с Рамоном подарили скрипку и аккордеон. Когда нас надолго забыли в номере гостиницы, мы стерли канифоль о струны в порошок. Наполнили ванну и, разорвав аккордеон, стали пускать кораблики.

Мы снова у овчарки Лили. Мать выслали за пределы Франции как коммунистку. Ей удалось вернуться. Ее наградили медалью за Сопротивление и выслали снова – вместе с нами. Отец остался в Париже, а мы улетели на перделанном в пассажирский военном самолете.

– Мама, куда мы?

– В Польшу.

Варшава. С усилием и радостью на лице мать втаскивает огромную картонку. Это – Радио. С гибкой трубкой медной антенны, которую мать прикручивает к батарее, а потом прицепляет к карнизу. Она слушает теперь радиостанцию «Пиренаика». Это эмигрантская радиостанция, которая вещает на поработленную фашистами Испанию. Мы знаем, что мы испанцы. Хотя мать говорит, что лично она – баск.

Я поднимаюсь с ней развешивать белье. На чердаке солнечно, сухо. У окошек большие гнезда из прутьев. Мать берет в руки птицу.

– Это голубенок. Он еще не умеет летать.

Квартира сумрачная, окнами во двор. На кухне я краду из коробочки поливитамины. Это оранжевые червячки, которые крошатся под зубами с кисло-сладким вкусом.

В большой комнате тахта, которую надо поднять, чтобы вынуть постель. Мать поднимает ее с трудом.

На кухне ниша с железной кроватью. Здесь спит служанка. Здоровая и краснощекая. Я сижу на стуле, она меня одевает. Натягивает коричневые хлопчатобумажные чулки, пристегивает к лифу. Лиф – это такой жакет без рукавов. Застегивается на спине и к нему пришиты подвязки. Служанка одевает меня долго, с перерывами, во время которых она смотрит куда-то мимо. У нее прозрачные глаза, которые мне кажутся уродливыми. В моем окружении у всех глаза темные – черные или карие. Я думаю, что одевает она меня грубо. Я сижу молча. Со служанкой я никогда не разговариваю.

В шкафу есть пара плетеных туфель. Из чешуйчатой кожи и на высоких каблуках. Я влезаю в них и цокаю по квартире. Весь мусор служанка замечает под ковер. Приходя с работы, мать выметает мусор и убирает квартиру заново.

Наши с Рамоном кровати железные и с сетчатыми перегородками. Краска на них пожелтела и облупилась. Сидя в кровати, я расковыриваю краску. Потом влезаю на перекладину и сижу на корточках. Я — курица. Я ни о чем не думаю. Проходя мимо, мать бросает: «Упадешь». И я падаю. На пол. Мне совсем не больно. Мать приносит Рамона обратно, забирает меня. Она купает нас каждый вечер. Потом надевает чистую пижаму, нагретую на батарее.

Вечером к матери приходит подруга. Из ее комнаты свет, женщины болтают. Чтобы привлечь к себе внимание, я скатываюсь в сетку и свисаю, притворяясь спящей. Но берет меня не мать, а ее подруга. «Какая миленькая! Можно я ее перенесу?» Я испытываю ненависть к чужому прикосновению, к этой женщине. Это горе. Первое.

У Рамона scarлатина. Он спит в комнате один. Мать входит к нему с марлевой повязкой на лице и кипятит посуду, из которой Рамон ест. Как только она уходит в магазин, я вхожу к нему. По случаю болезни ему купили цветные карандаши, тетрадки и бумагу. Он сидит на горшке, я рядом. Мы рисуем. Вечером его заворачивают в одеяло и уносят. Потом заболела я и я.

Больница. Толстая няня купает меня в кипятке. Мыло здесь воняет и бьет по ребрам. Меня одевают в холодную пижаму.

Огромный зал. Дети хитроумно связаны. На них холщевые жилеты с завязками, связанными под кроватью. Сесть в кровати можно, слезть с нее нельзя. Постоянно кто-то ревет. Я веду себя тихо, и меня отвязывают. Ночь. Мне нужен горшок. Я зову дежурную сестру. Я зову ее долго, с нарастающим отчаянием. Потом ощущением кошмара, ибо делаю это трезво, не имея даже алиби сна, писаю в постель и засыпаю в мокром.

На стене у изголовья приклеены картинки. Каждый вечер детей отвязывают, они становятся перед картинками на колени, крестятся и что-то бормочут. Я тоже становлюсь на колени, крещусь и бормочу. Но над моей кроватью картинки нет, стена пустая. Воскресенье. Приходит ксендз. Он

останавливается перед каждой кроватью. Дети в них становятся на колени и складывают руки. Ксендз кропит их святой водой. Когда он подходит ко мне, подбегает сестра: «Ее нельзя, она неверующая». Ксендз проходит мимо, оставляя меня в обиде.

Кроме общего зала есть ряд двухместных боксов, разделенных переборками. Медсестра несет меня мимо боксов, предлагая выбрать себе партнера. Я выбираю девочку с огромными белыми бантами. «С ней не надо, она злая и капризная». Но я хочу именно с ней. Девочка все время кричит, отказываясь от пищи, уколов, игрушек. От меня требует только одного – чтобы я ее отвязала. Но я боюсь.

Потом ее мне заменяют мальчиком. «Он – русский, – говорят мне. – По-польски не говорит, но все понимает». Русский мальчик белесый и стриженный. Я пытаюсь с ним заговорить, но он даже не смотрит на меня. Не меняясь в лице, он начинает орать: «Писать, писать!» Был тихий, стал громкий. Прибегает медсестра: «Чего он хочет? Где этот врач, который говорит по-русски?» Другая приносит мальчику бумагу и карандаш, думая, что он хочет писач. Русский все орет. Сестра застывает на мгновение, потом убегает и возвращается с целым набором цветных карандашей. Но мальчик уже плачет. Сестры осматривают его под одеялом и с облегчением смеются.

Первое Мая. Радио в квартире и громкоговорители на улице говорят, что сегодня праздник. Мать надевает на нас шерстяные штаны, пальто, шапки. Мы выходим на улицу, а там лето. Солнце слепит глаза. Мать раздевает нас и несет одежду в руках. Полно народу. С тротуаров все смотрят на проходящее шествие: флаги, большие и множество маленьких, воздушные шары. На платформах с колесами везут великанов и великанш. Полусмешные, полустрашные, они раскачиваются, оборачиваясь вокруг оси. Внутри них прячутся люди.

В 1965-м мы с братом вернулись в Варшаву и обошли тот район. На улице Груецкой ничего не изменилось. Двор мрачный и сырой, дом старый, и жильцы его бедные люди. Это было наше последнее лицейское лето. Мне было 17, ему 15. Мы приехали из Франции по приглашению подруги матери, которая за это время стала здесь министром. Мать постоянно повторяла и ей, и другим гостям, что квартира



темная и сырая, темная и сырая, темная и сырая... А это очень плохо для детей.

Мы переезжаем на улицу Тамка. Здесь квартира светлая. Желтые шторы и занавески с райскими птицами. На кухне чугунная плита. С дисками, которые снимаются ухватом. Ее топят углем.

Улица Тамка – одна из уцелевших после войны. Это крутая улица. Если машину плохо поставить на тормоза, она начинает съезжать вниз. Улица ведет к памятнику над рекой. Это грудастая Сирена с мечом. Символ Варшавы.

В угловом доме играют на фортепьяно. Люди стоят на улице и слушают.

– Хопин, – они говорят.

Мать переводит мне:

– Шопен.

Она работает стилистом испанской службы польского радио. О своей работе она говорит с удовольствием.

Из Франции отец присылает одежду и вещи, которых в Польше нет. В одной из посылок – тапки из белого фетра. Это специальная обувь для испанского танца хота. Мать надевает их и начинает танцевать. Руки у нее подняты, музыку поет сама, а в конце прокручивается вокруг себя. Она учит и меня. Я знаю, что я испанка, но у меня не получается.

Рамон лежит под дверью ванной. В нижней части этой двери дырки для вентиляции. Я подхожу и ложусь рядом. Он подвигается, уступает мне место у дырок. Сквозь них я вижу руку матери, повисшую над краем ванны. Мать поднимается, под животом струятся черные волосы. Я смотрю на Рамона, он на меня. Мы поднимаемся и уходим на цыпочках.

В детской я беру с пола советскую книжку «Первоклассница». Ее перевели на испанский. Я учу брата читать по-испански.

В Испании Аркас был великим архитектором. Потом он стал коммунистом. Теперь он эмигрант и приходит к нам в гости. Чтобы объединиться с матерью в саркастическом отношении к прочему миру.

Со мной Аркас разговаривает охотно и доброжелательно. Мне с ним хорошо. Он рассказывает про архитектуру

Испании, показывая ее по книжке с маленькими фотографиями и рисунками. Он объясняет, употребляя непонятные слова. Рассказывает, как устроен патиос. Я понимаю только то, что самые прекрасные памятники арабского зодчества находятся в Испании.

Эту фразу потом я часто слышу от матери.

Лето. Мы в Швидере, в доме отдыха. Я иду мимо футбольного поля. Я кажусь себе маленькой и незаметной. Вдруг в глазах черно – мяч попадает прямо в голову. Не оборачиваясь, я продолжаю идти, унося на плечах огромный колокол. Вслед мне одобрительно кричат, поскольку мяч отскочил игроку прямо в руки.

Из Франции приезжает человек, которого я не сразу вспоминаю. Это – мой отец. Где-то там, на Западе, он борется за освобождение нашей страны и всего человечества. Он рискует жизнью. Его могут убить. В каждой стране убивают по-разному, в нашей – завинчивая на горле гаротту. Но это не самое страшное. Потому что перед смертью ему могут затолкать в рот все, что он написал против фашистов.

Я сижу у него на плечах, в руке у меня яблоко. Перед нами польская равнина, залитая солнцем. Цветы в траве. Середина лета. Мы с отцом друг друга любим. Счастье портит только то, что перед прогулкой он дал мне яблоко от обеда. С кожурой есть не могу. Мать всегда очищает яблоки, она вынимает середину и подает на блюде в виде четырех долек. На плечах у отца я делаю вид, что ем. Потом плавным жестом отбрасываю яблоко назад. С глухим стуком оно падает в траву. Отец меня снимает. Он идет молча, обособленно, а я плетусь за ним в отчаянии.

Снова Варшава, и нас откуда-то привозят к нам же домой. В квартире полно народу. Нас подводят к кровати. За сеткой корчится сморщенное существо: волосы до плеч, но лысая макушка.

– Ваша сестра, – говорит мать.

На лице Рамона гримаса:

– Ке фза.

– Не говорите глупостей! – кричит мать. – Ее зовут Палома.

В ужасе я молчу. Эта Палома похожа на мартышку.

Подруга матери из ЦК. Когда мать ей жалуется на жизнь, подруга говорит, что «Мы поможем». Но даже ЦК не может ничего поделать с тем, что мы с Рамоном худые, плохо едим и все время болеем.

Болезнь – наше главное развлечение. Иногда я попадаю туда после того, как его выписали, и мне рассказывают, как он лежал и что делал. Иногда мы попадаем в больницу вместе. Мы ходим к тяжелобольным. Они лежат отдельно, мы их развлекаем. Один мальчик обожжен. Он лежит в жестяной трубе, внутри которой горят лампочки. Как бы в консервной банке. Еще есть мальчик с дыркой в голове. Рамон дарит ему французский журнал «Пиф». Я люблю больницу. Здесь у меня подруга, у которой одна нога короче другой. Ей постоянно делают операции. Мы с ней играем, здесь весело. Медсестры к нам хорошо относятся. На ночь они накручивают себе бигуди.

Единственный плохой день тут – воскресенье. Это день посещений. К детям приходят толпами – мать, отец, тетя, дядя, бабушка... Мальчика из румынского посольства навещает целая делегация с цветами. Мне тошно оттого, что все шумят, целуются и плачут.

К нам не приходит никто.

У нас теперь есть сестра. И когда мы выйдем из больницы, нас с братом отдадут в интернат, где в вестибюле мы разминемся с белым Сталиным, которого, подложив под двери доски, будут вытаскивать ногами вперед...

Из польских вещей у нас только ортопедические ботинки – на шнурках и с вкладными подошвами от плоскостопия. Под выемкой ступни две бусинки, которые заставляют ее выгибать. Летом в этих ботинках жарко. А зимой на нас фетровые сапожки, обшитые кожей и с шнурками на крючках. Отец прислал мне вязаный жилет. На нем вышита лиса и слово «Ле Ренар», ворона с сыром и слово «Ле Корбо». «Это по-французски», – говорит мать и переводит мне жилет.

Посылки приходят часто, целыми чемоданами. В них только детские вещи. Однажды мать находит туфли на высоком каблуке. Потом рассказывает раздраженно разным людям, что туфли оказались 40-го размера. На нас все красивое, французское, а на матери черное пальто с бурым мехом внутри. Медвежий. Когда мать ходит, пальто не двигается. Она в нем, как в будке. Она ненавидит свое пальто.

В 17, во Франции, я тайно прочитываю кипу ее писем из Варшавы. Только о детях – рассказы о них и просьбы для них. О себе отцу ни слова. Ничего личного. Оно прошло, в словах не воплотишь. Но я помню, как все те семь лет изгнания в Польшу над ванной попеременно сохла одна и та же пара трусов – шелковых и с кружевами. Одни белые, другие абрикосовые.

Может быть, поэтому я говорю не умолкая. А когда не с кем, то пишу в этой вечной тетради с Бульмиша\*...

\*

– Прости. Ждал карту.

– Пришла?

– Не мне...

Уже солнце, когда, вернувшись, Александр срывает рубашку и отпадает на матрас. Он долго добирался «зайцем» после ночи в МГУ, где за игрой в покер пытался превратить последний рубль в прожиточный минимум до конца визы.

– Зато мне повезет в любви.

– Ты думаешь?

– Надеюсь.

– Сегодня вряд ли.

– Что ж, – закрываются глаза. – Проигран бой, но не война...

Черное стекло, золотые буквы:

*Комитет по делам религий  
при Совете министров СССР*

Дальше за этой конторой, куда адресовал знакомый покерист, была забегаловка – стоячая. Выбора не было, только сливовый сок. Трехлитровую банку держали в холодильнике, стаканы покрылись испариной.

– *К-комитет*, – сказал он... – К Зверю в брюхо.

– Не надо, – сказала она.

– А как тогда?

---

\* Бульвар Сен-Мишель в Париже.

– Как-нибудь.

– Чего уж там. С рождения проглочен... Жди.

Он вышел на солнце.

За тяжелыми дверьми налево, на откидных стульях, ходоки – священник православный, пастор из Прибалтики и мулла в чалме.

– Здрасте.

Служители культов наклонили головы.

В глубине мраморная лестница. Слева под ней стол и стул, с которого навстречу поднялась старуха. В валенках и обвязалась шерстяным платком.

– Ты, что ль, студент?

– Я.

– Туда, а там направо. Дверь после туалета.

Что было кстати – сначала он отлил.

Кроме заявления о приеме, начальник отдела кадров попросил написать и автобиографию.

– Паспорточек захватили?

Сверил и вернул. Сколол бумажки и запер в несгораемый шкаф с гнедыми разводами.

– Выпиваем?

– Нет.

– Вы ж указали «русский»?

– То есть, конечно, – спохватился Александр. – По праздникам.

Сделав жест, начальник заговорил изобразительным голосом:

– Вы заступили на дежурство. Впереди ночь одиночества, а в двух шагах Смоленка. Винный до одиннадцати. Девочки всюду. Молодые и за вино на все готовые. И есть, куда привести... Как?

– Что вы... Никогда.

– Это «никогда» я знаю, внук – студент. Но если в этих стенах вышеуказанные ингредиенты соединятся... Вы себе отдаете отчет, чем мы тут занимаемся?

– Религиозными делами?

Он поднял палец.

– Государственной важности. Представьте, что вам на ночь доверили ключ от Комитета, допустим, государственной безопасности? А вы не смейтесь. У них свои секреты, у нас свои. И не только понимаете, земные, до которых охочи такие силы, как Ватикан, масоны или там Кестон-кол-

ледж. Библиотека, например, у нас. Вся высшая в ней мудрость. Академиков, и то не всех пускаем. И вот, представьте, сторож... Бывший фронтовик, а за бутылку сатанистов на ночь допускал. Манускрипты средневековые переснимали. До них не добрались, а он понес заслуженное. К запретному знанию не тянет, нет? А в смысле суеверий?

– Научный атеизм сдавал.

– Вот это хорошо. Вообще-то сторожа, особенно из пожилых, к нам неохотно, вы понимаете... Но против Сатаны у нас два раза в ночь моторизованный патруль. А в случае чего – там пьянь ломиться будет, баптисты, мусульмане, сектанты, разные... оружие имеется. И безотказное. Телефон! – И для наглядности взялся за трубку.

На выходе старуха спросила:

– Подошел? Тогда чтобы ровно в двадцать ноль-ноль.

Ослабив цензуру по случаю лета, в «Хронике» давали «Америку глазами французов». Еще «оттепельный», хрущевский, но все еще запрещенный до 16-ти. Александр прорвался на него впервые, когда ему было тринадцать, и сейчас с волнением ожидал свидания со сценой, где калифорнийка бежит по кромке пляжа Биг Сур, не обращая внимания на медленно, но верно сползающие под мокрой тяжестью полосатые трусы...

Без пяти восемь он чмокнул Инес в ухо.

В Комитет вошел под бой стальных часов, но комплимента не дождался. Бабка, как на счетах, перебрасывала в коробке рафинад.

– Посчитала. Понял?

– Что?

– А то что знаю вас, скубентов. И чай не трогай. Вишь, зашит?

Цыбик грузинского был замечан черными нитками.

Старуха задвинула ящик.

Думку, на которой сидела, она унесла с собой в кошелке.

Сидеть было жестко. Над головой мотался маятник.

Ушла уборщица Аза, молодая и красивая татарка. Спустилась другая, худая и высокая. Отнесла швабру с ведром и вернулась. Под халатом ситцевое платье на бретельках. Застежка сбоку сколота булавкой, что не скрывает салатный цвет трусов. Руки исколоты, под мышкой кустик белесых волос, под глазом синяк.

– Так чё, слетаю на Смолягу? Я Тосей буду. – Она взболтнула грудь. – Поллитруставишь, вся твоя.

– Еще не заработал.

– Не голубой?

– Обычный.

– Я и сама могу поставить. Авансом, а?

По обе стороны от входа смотровые оконца. За невымытым стеклом мелькнул иностранный силуэт. Сиденье за Александром хлопнуло.

Впустив Инес, он заложился на крюк.

– Но это же дворец!..

Он обнял ее сзади и, давая почувствовать сквозь джинсы, привел в движение мускул.

– Наш до восьми утра.

С собой Инес принесла кулек маслин из «гастронома» на Смоленской. Но не испанских. Черных греческих.

Косточки они обсосали до потери вкуса. Солнце сияло за невымытыми оконцами, когда он поднял крюк. «Выпей соку», – сказал он. Глаза у нее были огромные и как в тумане.

– С похмелья, что ль? – спросила бабка, принимая объект.

В метро все ехали на работу.

Положив ему голову на плечо, Инес уснула, но прежде чем продолжить на матрасе, зачеркнула на стене еще один день.

Актовый зал был полон....

«Красный» диплом на курсе был единственным. Его без лишних слов вручили Перкину.

Потом на сцену вызвали «посланицу будущей Испании». На выпускном экзамене по научному коммунизму Инес возникла насчет Чехословакии, но диплом ей все равно дали и даже вручали его с помпой, высказав надежду, что на Западе она понесет людям правду о стране, которую ей довелось узнать.

Глядя себе под ноги, Инес стала спускаться.

Александр встал навстречу – и зал внезапно онемел. Так, что где-то далеко послышалась сирена «скорой помощи».

Президиум смотрел на них сверху.

Они повернулись к выходу, он обнял ее за бедро. Ковро-

вая дорожка казалась бесконечной. Ряды выпускников и их родителей поворачивались вслед.

За дверью она прижала диплом к груди:

– Неужели все кончилось?

На солнце стало темно в глазах. Асфальт продавливался под ногами. Двор, проходная. Они пересекли проспект. Учебная территория за высокой решеткой была пустынна. Здания, корты, стадионы... Никого. Только вдали под солнцем две фигурки – Перкин с матерью.

У Перкина на голове пилотка из газеты. Эсфирь Наумовна была в соломенной шляпке с парой лакированных вишен, на руках нитяные перчатки.

– Поздравляю, – сказал Александр.

– Было б с чем...

– «Красный» же диплом!

– А в аспирантуру сына замдекана. С «синим».

Еще на первом курсе профессор, потрясая курсовой работой Перкина, кричал, что он бы за это сразу ученую степень – гонорис кауза!

– Не тебя?

Перкин мотнул головой.

– Свободное распределение, – сказала его мать. – На все четыре стороны.

– Одна пока открыта, – заметил Александр. – До Вены, а там куда угодно. Хоть в Иерусалим, хоть в Гарвард.

– О чем ему и говорю.

Перкин сжал челюсти.

– Вот так уже неделю – как бык. – Повернувшись к Инес, мать Перкина перешла на идиш.

– Инес из Парижа, – сказал Александр.

– Откуда?

Перкин буркнул:

– Сказано тебе.

– Лева, не хаши. А я подумала, что вы нашли себе... *Средство передвижения*, как говорится. По-русски девушка не понимает?

– Я понимаю, понимаю, – заверила Инес.

– Ой, извините... Лев, надень панамку! Удар сейчас хватит. Остановите его, Александр...

Перкин отбросил руку:

– Все меня вытолкнуть хотят. Неужели даже ты не понимаешь, что это – родина?



Ему было семнадцать, когда Александр с ним познакомился на лекции. Голова у него была забинтована. Он только что похоронил отца, а вдобавок был избит шпаной. Ударили кастетом, а потом ногами. Но он держался, этот вечно небритый мальчик, вещь-в-себе. «Ночь хрустальных ножей» на факультете стояла все пять лет. Он был единственный, кто выжил. Для того, чтобы оказаться с «красным» дипломом в тупике. На выжженном пространстве Ленинских гор.

Под черным солнцем.

Толпу нахмуренных красавиц возглавляла Пола.

– Мы к Инес.

– Она в Москве.

– Ничего, мы подождем.

В квартиру вторгся запах традиционной женщины. Косметики, лаков, духов. От чая польки отказались.

– Можно курить?

Щелкая зажигалками, они озирались и переглядывались, выгибая выщипанные брови. Брюнетка взглянула на пишущую машинку.

– Говорят, что вы писатель...

– Не врут.

– Что, и публикуетесь?

– Где?

Пять лет прожив в условиях соцреализма, она настаивать не стала. Сигаретный дым плыл за окно. От чаю они снова отказались. Когда Александр вышел за пепельницей, польки разом заговорили, артикулируя чувство, вызванное выбором Инес.

Брюнетка встретила вопросом:

– «Защиту Лужина» читали?

– Естественно.

– А шахматы есть?

Из серванта он достал хозяйскую коробку. У белых не оказалось королевы. Она вынула из сумки флакончик с перламутровым лаком и убрала руки за спину. Ему достались черные.

– Мат... Еще?

Александр напрягся так, что все извилины заныли. Но продержался он не дольше. Третью он тоже проиграл. Брюнетка спрятала лак и защелкнула сумку.

– Набоков, кстати, играл не хуже, чем писал.

Неверными руками он собрал шахматы.

– А в карты не играете?

– Смотря во что.

– В очко?

Они играли только в бридж.

Инес вернулась и сломала лед. Он застегнул ширинку и вышел. Они заговорили наперебой. Шипящие, которые, как змеи, обвивались вокруг него, советского: или ты шизанулась, старая? Стоя на кухне, он смолил «Север». Пришла Инес, чтобы сделать им привезенный кофе на французский манер – через воронку с фильтром *Melita*.

– Обидно. Я всегда был поломан.

– Разве?

– Свобода. Всегда просачивалась через польский фильтр.

Ушел он по-английски.

Запах красавиц еще стоял в квартире, когда он вернулся с ночного дежурства. Инес сидела на кухне в трусах и лифчике.

– Не спишь?

Она улыбнулась.

– Что ты пишешь?

Она закрыла красную тетрадь.

Польки приходили прощаться. Вместе пять лет, но остались загадкой. Это только с виду они такие беззаботные. Накупили электротоваров, которые в Польше дороги. Пылесосов, стиральных машин, холодильников. Отправляя малой скоростью, промучались весь май. Зачем? Так ведь выйдем замуж. Когда? Когда-нибудь придется, говорят. Уезжают, оплакивая МГУ. Хотя у каждой такой здесь опыт, что бригаде психоаналитиков за десять лет не исцелить. Пола вообще свихнулась. После аборта на шестом месяце, когда по кускам из нее вынимали, а потом сказали: «Девочка была». Эльжбета к врачам не обращалась. Сначала ногу вывихнула, прыгая со стола, потом чуть не сварилась в ванне. А виновник выкидыша – турок, поэт и террорист – грозит с собой покончить, если бросит его в Москве. Марыля, та за диплом переспала с профессором-башкиром. Теперь он напивается и спит у ней под дверью: «Як швинья!». Муж Лидки доводит ее манией к порядку – найденный в МГУ садист из ГДР. Он не хочет в Польшу, она в Германию. Это

которая, брюнетка? В шахматы трижды обыграла. Но она же гений. Чемпионкой Польши была. Не будь еврейкой, могла бы и мировой звездой... Еще кофе хочешь?

Инес поставила воду на газ.

– Знаешь? Кажется, и я подзалетела.

– Что?

– Разве не так по-русски?

## ОГОНЬ

Старуха заглянула на стенные часы: нет, не опоздал. Он опустил свою сумку на мраморный пол.

– Чего там у тебя?

Машинка, которую он вынул, вызвала гримасу отвращения.

– Зачем?

– Писать. Я же скубент.

– Шпиенская какая-то... Ты вот что. Девоч больше не води. И в библиотеку не шастай. Смотришь, откуда бабка знает? А ключик-то? Бородкой не в ту сторону повесил. Вот доложу куда следует, враз рассчитают. А деньги-то, небось, нужны?

Обогнав старуху, он галантно отворил ей дверь. На бородавчатом и редкоусом лице появилось подобие улыбки:

– Боишься...

Он сидел, вытянув ноги. Над ним качался маятник.

Спустилась Тося и сняла халат.

– «Мерзавчик» поставишь, отсосу.

Татарка за ее спиной опустила глаза.

– Ты не смотри, что глаз подбит. Я женщина опытная. Вот сделаю «испанский воротничок» – небось, и не слыхал? Давай рупь сорок семь.

– Знаешь, Тося...

– Обратно «в другой раз»?

Он сжал себе виски.

– Да тошно мне. Не видишь?

– Ох, и уклончивый мужик пошел... Что с таким делать, Аза?

Уборщицы ушли.

Накурившись до омерзения, он впал в протрацию. По мрамору зацокали сапоги патрульного милиционера.

– А дверь закрыть, сторож?

Заложившись на крюк, Александр вернулся. Под стенными часами висел застекленный ящик с ключами Комитета. Он открыл. Прежде чем снять с гвоздика, запомнил позицию бородки.

Библиотека была на втором этаже. В свете уличного фонаря он свел шторы, потом включил лампу. Сквозь стекла замерцали корешки фолиантов. Черная готика старинных шкафов. Он обошел их и открыл дверь на винтовую лестницу. Ступеньки под ним затрещали. Слыша, как стучит в висках, он всходил во тьму, все выше. Потом споткнулся. Скользя вниз, книга шлепнула о ступеньку. Он вынул коробок, чиркнул спичкой. Из чердака, заклинив обитую жестью дверь, книги вываливались на лестницу. Целая свалка Библий.

Он сидел под маятником. Родившись не вчера, цену этому томику он знал. До ста. Это уже спасение. А если прихватить десяток? В поисках решения он открыл, ткнул пальцем:

*Он схватил кусок и вышел?  
а была ночь...*

Все верно. Именно кусок – тысяча рублей.

Но речь тут об Иуде...

Что делать? *Да, нет* – постукивал маятник.

В три ночи патрульный мотоцикл въехал прямо на тротуар. Поднявшись в седле, за оконцем возник милиционер. Проверил наличие и газанул прочь.

Нет или да?

*Полшестого.* Он поднялся. Взшел.

Томик, брошенный во тьму, вызвал обвал. Обгоняя, Библии хлынули вниз по лестнице. Дверь навстречу потоку он успел перекрыть. Но что делать теперь?

В стекло постучали, когда оставалось еще полчаса. За незнакомцем спортивного вида вошел начальник отдела кадров.

– В здании кто-нибудь есть?

– Никого...

– Так все в порядке?

– Вроде.

Незнакомец посмотрел на сумку.

– А чей багаж?

Начальник отдела кадров увел глаза.

– Мой.

Короткий рукав рубашки обтянул бицепс незнакомца, который собрал замшевые ручки и поставил парижскую сумку на стол. «Кирпичи у вас, что ли? Можно?» Александр молчал. Открыв «молнию», чужая рука извлекла покетбук под названием *Cannibals and Cristians*\*. «На языке читаете?» Задерживаясь на карандашных пометках, незнакомец его просмотрел, отложил. Вынул машинку и подмигнул. «Эрика берет четыре копии?» – «Это не «Эрика». – «Разве?» Он расстегнул и откинул. Из кармана футляра выдернул лист и ввинтил. Втыкая свой палец, снял образец шрифта. Заклинив, перестучал и заглавные. Выдернул, сложил и в нагрудный карман. «Хорошая портативочка. – Вынул и перевернул так, что выпали рычажки. – Мэйд ин Свитцерланд? Эти умеют».

И уронил.

От удара по мрамору брызнули слезы.

– Вы что?!

Человек отвернулся. К Александру он потерял интерес. В отдалении его рот шевелился по-рыбьи. Сталинский кадр в ответ багровел затылком – морщинистым и бритым.

Они ему дали уйти.

Дверь душевой распахнулась, лампа вспыхнула. Иванов дымился и сверкал.

– Друг? Что ты здесь делаешь?

– Ищу пятерку.

– Посреди Апокалипсиса?

– О чем ты?

Взявшись за клеенчатую занавеску, Александр поднялся с кафельного порожка. В общепитии был промежуток пустоты. Абитуриенты еще не нахлынули, студенты разъезжались. Кроме Иванова, который взаперти «работал на бабуге» – полтора часа без перерыва.

– Ничего, что я в раковину?

Перебивая воду струей и оглядываясь, Иванов информировал о том, что на Москву прет огонь со всех сторон. Леса, торфяные болота, земля – все вокруг пылает. Подни-

---

\* «Каннибалы и христиане» (книга Нормана Мейлера).

мись к себе в башню, увидишь. В кольце огня столица коммунизма. Как тигр. А ты не знал?

– Нет. У тебя пятерка есть?

– Ты подожди. Есть новость похуже... – Для акустической защиты вдобавок к воде из-под крана Иванов на полную мощность раскрутил душ.

– Испанку проводил?

– Нет еще.

– Друг. Чем скорей, тем лучше. Катят бочку на тебя.

– Откуда?

– *Оттуда.*

– Что, вызывали?

– Не только меня. Не дошло еще?

– Нет.

– Соблюдают. Обязали не разглашать.

Сквозь дыры занавески били струйки, но Александр не утирался.

– Ну?

– Под колпаком ты. Как я понял, составляют твой портрет. Что, где, когда, кого и почему. Особенно насчет Инес. По любви с ней или виды имеешь.

– Какие?

– Известно... В западном направлении.

Александр влез с головой под кран.

Вода была тепловатой, но когда он отбросил мокрые волосы назад, чернота в глазах прошла.

С полотенцем Иванов вынес червонец.

– Хватит? Предки на Сочи мне прислали, но я на каникулы отсюда ни ногой.

– «Железный занавес» штурмуешь?

– Э, нет. На Родину я развернулся. Девиз теперь: «Не вынимая по Стране Советов». А в этом году их небывалый ожидается наплыв. Гуманитарный бум! Причем, смена, скажу тебе, приходит... Акселератки. Еще не поступили, а как дипломницы: и в хвост тебе, и в гриву. Давая завязывай, Сашок, и на подмогу. Этнос разнообразный, причем, лучшие кадры сверхдержавы. Взгляни хоть на эту, на первую ласточку...

Он нажал ручку у себя за спиной.

Запрокинув оплетенную бутылку из-под «Гамзы», нагота в кровати обливалась, глотая воду. Полоски снятого бикини сверкали так, что Александр схватился за грань и зажму-

рился. Удостоверившись, что с кадрой все в порядке, Иванов обратил на него изумленные глаза:

– Не нравится?

– Прости. Просто период такой, что в пору «Крейцерову сонату» сочинять.

– Случилось что-нибудь?

– Угу. Разбит мой Эрос в пух и прах.

– Смотри. Где Эрос отступает, там сразу этот, как его – Бог смерти... Сам же говорил. Возвращайся, друг. Сашок?

Оставляя единственного кредитора в недоумении и тревоге, Александр, пятясь, вышел в коридор и закрыл перед собой эту дубовую дверь с четырехзначной латунной цифрой.

Бесконечную сумму страданий государство свело к цифре 5 (пять) рублей. Несмотря на очередь из распаренных женщин, в сберкассе не преминули возвысить голос:

– За аборт?

Смотрели на него, как на убийцу. Оставляя след пальцев на черной пластмассе, он соскреб бумажку.

Пустые дворы. Земля трескалась, как асфальт. Пух то полей вдоль бордюров свалаясь грязной ватой. Из-за серокирпичных углов тянуло то карболкой, то помойным гниением. Пятиэтажки унылого цвета. Одна нежилая.

Он вошел и вернул проштампованный счет.

– К ним нельзя.

Медсестра взяла передачу – в полиэтиленовом мешочке два кроветворных граната. Приобретенных у таджика на рынке.

– Писать не будете?

Она подозвала других сестер, чтобы показать, как, сидя на ступеньке, он выбивает на машинке то, что самому показалось больше похожим на угрозу:

Я люблю тебя. Не разлюблю никогда.

– Будете ждать ответ?

Он был по-французски и от руки:

*Moi non plus. Donne-lui troisroubles\**.

---

\* Не я тебя. Дай ей три рубля (фр.)

Трех уже не было, но он отдал последний.

Вышел, увидел скамейку.

Перебитая рейка приподнялась под ним.

В зарешеченных ямах полуподвала и на первом этаже окна были забелены. Выше из них, навалившись, смотрели соотечественницы. Простоволосые. Выдавив груди в разрезы рубах. Не все тяжело и угрюмо. Некоторые улыбались и что-то о нем говорили, отчего над головами у них возникали соседки.

Он скрестил руки и сжал себе бицепс.

Как по команде, окна опустели.

Инес не появилась.

Он поднялся и взвалил на спину тяжесть машинки. Между домами потягивало гарью. Асфальт проспекта отражал закат, который догорал в стеклянных крышах рынка.

Закат был жуткий над Москвой – багрово-черный.



Четверть века назад в дорогое поместье Парижа влетел «ситроен». Он был облеплен небольшими мужчинами в черных костюмах и кепках. Они соскочили с подножек. Одни бросились к дверце, другие к дверям фешенебельного «Матерните».

Вперед животом вышла женщина.

Она родилась в Мадриде. Отец там работал на цементном заводе. Потом перевез их к морю. В рыбном городе Бильбао он купил лавку – зелень, овощи, фрукты. Девочка разносила корзинки с заказами. Каждый плод вымыт, корзинка накрыта крахмальной салфеткой. Девочка тоже была аккуратной.

Когда начался контрреволюционный мятеж, Пасионария стала ее героиней. Революция – это женское дело. Те же цели. Только победа революции в Испании может освободить женщину так, как свободна она на заре коммунизма – в СССР. Если погибнет революция, снова будет как прежде. Насилие. Одеждой! широкими юбками до щиколоток, рукавами до запястьев, высоким и строгим воротничком. Религией! журналы, романы – только с церковного дозволения. Театр, кино – только после консультаций с католическим цензором. Танцы на публике – только местные и народные.



Современных будет нельзя. Ни косметики, ни губной помады. Об этом писали газеты, которые читала девочка – *Muchachas, Mujeres, Emancipacion\**.

Обещая права на работу, равную зарплату, открытие яслей и детских садов и даже – иногда – легализацию аборта, эти газеты, однако, считали, что мужчина все равно впереди. И особенно на войне. Только любимый еженедельник *Mujeres libres\*\** шел дальше, утверждая, что надо покончить с подчинением женщины интересам других. Фронт для нее не только, где стреляют. Враг не только франкисты. За спиной у каждого свой «внутренний враг». Родители, дети, мужья. Семья – вот второй ее фронт. Социальная революция – только начало. После ее победы испанские женщины должны совершить свою собственную.

В 15 она ушла из дома на курсы медсестер. Было много работы – но Бильбао пал.

А потом и вся Республика.

За Пиренеи, во Францию, она эмигрировала пешком. В концентрационном лагере для испанских беженцев в Перпиньяне научилась по-французски. Освобожденная в 19 по причине войны, она пошла в Резистанс. Я знаю только два эпизода из этой войны моей матери.

По радио из Лондона отряду сообщили, что немцам известна его дислокация. Отряд стал замечать следы по местности, абсолютно равнодушной к идее Сопротивления. Для ночевки мужчины выбрали идиотское место – дом у отвесной скалы. И уснули, оставив ее на часах. Пистолет был слишком тяжелым для прицельной стрельбы. Но все обошлось.

Партию оружия она везла в сопровождении двух испанцев. Проходящий человек им шепнул, что подходит патруль. Парни выпрыгнули на ходу. Она стала тащить чемодан по вагонам. Поезд остановился. «Могу я вам помочь, мадемуазель?» Немецкий офицер спустил чемодан на перрон. «Не слишком тяжелый для такой девушки?» – «Все мои книги, – ответила она. – Коньки, утюг. Я к бабушке переезжаю». Офицер козырнул ей из тамбура. Город был незнакомый. Никто не пускал ночевать. Потом ей сказали адрес, где принимают «таких, как вы». Деньги там попросили впе-

---

\* «Девушки», «Женщины», «Эмансипация» (исп.)

\*\* «Свободные женщины» (исп.)

ред. Чердак был с безумной старухой, привязанной к кровати. Старуха рвалась и орала всю ночь.

Утром она потащила автоматы дальше.

И довезла.

В год Освобождения она проводила своего друга по Сопротивлению. Он вернулся в Югославию – строить социализм. Она осталась в Париже. Невысокая, четкая женщина. Эспаньолита\*. Черные глаза блестели. Волосы тоже – с гребнем и локонами. Каблуки черных туфель выгибали ступни. Черная юбка и блузка из парашютного шелка.

Однажды в Латинском квартале на митинге вышел Висенте Ортега.

Руководителю было тридцать. Он умел зажигать.

В конце речи он поднял кулак.

Ей пришлось выбирать между ним и любимым своим пистолетом. Никелированный «Вальтер» с щечками из перламутра. Американский летчик ей подарил. Декабрьским вечером Сорок Пятого года, когда переходили *Pont-Neuf\*\**, Висенте вынул руку с пистолетом из кармана и завел ее за парапет.

Первого Мая был праздник. Танцевали под аккордеон. Гость из Венгрии подал руку, она поднялась. Этим танго Висенте остался весьма недоволен. Ругал аморальных (почему-то) славян. Впервые пришлось ей оправдываться – что его не было рядом, как всегда, он с товарищами...

Она была уже на пятом месяце.

Отец был в Испании, когда я родилась. В первой своей нелегальной поездке. Благополучно вернувшись, он предложил дать мне, лежащей в чемодане на рю Монмартр, 5, имя Долорес – в честь Председателя партии. Но мать уже выбрала.

*Инес.*

Четверть века спустя меня готовят к аборту в СССР.

Полуподвал. Пол цементный. Стены в подтеках. Бельмо окна со следами малярной кисти а ля Пикассо.

Здесь хозяин по кличке дядя Вася-П...брей. Мстя за профессию, пьет. Так, что руки трясутся, когда наклоняется с бритвой. При этом, однако, извлекает прибавку к зарплате, сшибая за добавочный комфорт. Во-первых, за сме-

---

\* Испаночка (исп.)

\*\* Новый мост (фр.)

ну лезвий. Если деньги не взяли, извольте, мадам, бриться старыми (когда даже новыми их, под названием «Спутник», ранить нельзя разве что офицерскую щеку, и то сомневаюсь... Знала бы, захватила «Жилетт»!). Дальше – за мыло, за намыливание несменяемым помазком (а без денег – терпите всухую). При конвейерной этой системе к концу дня набирается даже больше, чем на бутылку, которую он распивает, выдавая себя среди собутыльников за ветерана войны. Так говорят соседки, прошедшие через этот подвал много раз.

Вся палата смеялась, когда я сказала, что первый. Норма пять-шесть. До тринадцати. Одна пожилая – после двадцатого. Об этом говорится со странным каким-то превосходством.

Не знаю, что испытала в Париже Кристин.

Здесь это – как насадка на миксер. Тебя разбирают, пристегивают и наваливаются. Вставляют железо и распяливают до отказа. Миксер включается. На очки и на грязный халат брызжет новая кровь. Это твоя. Ты орешь. И орут на тебя.

Снимают, уводят и следующую. Конвейер. Фабрика-кухня. Как куриц каких-нибудь потрошат.

Только живьем. Без наркоза.

*Mais a fait mal\*...*

Бледность ее лица потрясла Александра.

Она вернулась внезапно, за день до выписки. Одна. На транспорте, с тремя пересадками – хотя у него было отложено на такси.

Касса рабочей столовой была внизу, зал на втором этаже. Комнатной величины. Голый пластиковый стол с исцарапанной алюминиевой обивкой. В углу компания разделась под выпивку до пояса, кирпично-обожженные по шее и локти, а в промежутке бледнотелые, на предплечьях наколки, не сложнее по символике сердца, пробитого стрелой. На липучках шевелились мухи. Оставив на тарелке блестящую гречневую кашу с подливкой, пиво Инес допила. Теплое. Прощальный обед в СССР.

Солнце жгло сквозь пелену.

Когда они встретились, кинотеатр по эту сторону Спут-

---

\* Но это так больно... (фр.)

ника еще строился, а сейчас, несмотря на неубранный мусор вокруг, в нем уже шел фильм. Болгарский. Про шпионов, срывающих коварные планы Запада: ее в последнем кадре убили из винтовки с оптическим прицелом, он благополучно вернулся в лагерь социализма. Указательным пальцем он вытер слезу, успев до света придать лицу ироническое выражение. Вместе со старухами, бетонщицами и мальчишками вплотную, которым не достались путевки в пионерлагеря, они вышли на солнце.

Красное в дыму.

Больше наружу они не выходили. Окна в квартире были закрыты, шторы задернуты. Потеряв напор, вода сочилась, ржавая и теплая. Они вымачивали простыню, выкручивали над ванной в четыре руки, расстилали и ложились плашмя. Рядом, но не соприкасаясь.

Они говорили. Тем больше, чем меньше ей здесь оставалось. День и ночь напролет.

Он пытался вообразить границу. Момент перехода. С начала начал – что есть Запад?

– Запах.

– Чего?

– Чистоты. Чистоплотности, – подбирала она. – Зубной пасты. Мятных пастилок, чуингама. Туалетной воды. И духов.

– А еще?

Дезодорантов – Инес не могла даже предположить, что возможна ностальгия по аэрозольным ароматам сортиров, пахнущих морем, лавандой, весной. То есть? Есть такой запах. «Весенняя свежесть». А сигареты? напоминал он. Настоящие? Конечно. *Les Caporal. Les blondes\**. Изредка трубочный дым. Или вот. Либеральной демократии запах. Типографская краска. Афиша. Газеты, журналы в киоске. Вертушки с «ливр де пош». Запах машин. Мягких, удобных сидений. Выхлопных даже газов. Кофе-эспресс. Круассанов *au beurre\*\**... Запах жизни. Имеющей ценность. Звук и цвет. Это можно еще осязать. Вкус. И покой. Состояние легкости. Как переход в невесомость. Каждый раз привыкаешь неделю.

– А потом?

---

\* Здесь: Из черного табака. Из светлого (фр.)

\*\* На сливочном масле (фр.)

– Все возвращается в норму.  
– Какой она будет?  
– Сначала? Моя комната. Солнце весь день. На лоджии кадка с апельсиновым деревцем. Холм вдали. Там растут персики. Старинная церковь. Тишина. Они меня ждут.

– Откуда ты знаешь?

– Покрасили комнату. В белый цвет. Но не чисто, а с нюансом, которого не передать. Такого здесь нет. *Blanc casse*. Белый сломанный. Такой медидативный. Это Париж изнутри.

– А снаружи?

– Серый. Все оттенки. До жемчужного.

– Цвета спермы?

Молчание.

– Еще будет лето, – домогался Александр. – Август. Куда поедешь?

– Может быть, к подруге в Ниццу.

– А потом?

– В сентябре весь Париж возвращается. *La rentrée*.

– Что значит?

– Жизнь начинается. Романы, выставки, кино, скандалы. Я приеду к тебе через год, ты меня не узнаешь... Сигарет багажник привезу. И мы куда-нибудь поедем.

– Куда?

– Куда захочешь.

– Разве что в Питер. Больше некуда...

Ночью на кухне он открывал окно и, просыпая табак, разминал папиросу. «Север» – пятого класса. Из расплзшейся пачки. Упираясь локтями, улетал в темноту, оставляя свой кокон в шлакоблоке. Ангел отчаяния. Всевидящий, отрешенный. Над горящим в ночи Подмосковьем. Над этой гангреной коммунизма вширь и вглубь. Каждый понял, никому не дано изменить. Только он – червячок, человек, вопрос. Продолжает пульсировать. Бьется, трепещет. Мол, зачем?

Она не спала.

– Ты не молчи...

– А что тут скажешь?

– А ты скажи. И я останусь...

Он молчал.

– Уехать мне?

– Уехать.

- Почему?
- Потому.
- Потому что не любишь?
- Потому что, – сказал он, – люблю.

За три дня до развязки заставили выйти – и на воздухе засадило. Прячась за лакированной твердью двери, он приоткрыл на цепочке.

– Кто это был?

Он подал телеграмму из-за Урала.

### Вылетаю с любовью Альберт тчк

– Странно, – сказала Инес. – Так и не поняла я вас, русских. Действительно, может быть, тайна?

– Может быть.

– А какая?

– Не знаю. Пустота...

После второго захода – «*Si tu me permets*»\* – Альберт расстегнул свой мундир, в вырезе майки белая кожа шла пятнами.

– Разбавляет... Друг мой разбавляет. Водой.

В литровой бутылки с притертой по-химически пробкой был спирт. Бокалы хрустальные.

– Не могу, друг, позволить.

– Раньше мог. Он на все был способен, Инес. Кроме любви... – Выдохнув, он запрокинулся и приложился к своему кулаку. – Х-ха. Экзистансу искали мы в совреальности. Спросишь, как это выглядело? Видимой стороной? Крайним релятивизмом. Отношения, личность... Это все побоку. С кем попало. Ё...й мистик оргазмов. Мальчика с толку сбивал. Мол, границы – это только внутри. Инес? *Tu m'entends?*\*\*

– *Je t'entends, Albert*\*\*\*.

– И заметь, не Камю. Человек действия. Напрямую. Не его бы теории, я в другом бы мундире сидел. *Legion étrangère*\*\*\*\*...

\* С твоего позволения (фр.)

\*\* Ты меня понимаешь? (фр.)

\*\*\* Я тебя понимаю... (фр.)

\*\*\*\* Иностранного легиона (фр.)

Он поет. Сначала без слов напеваает пластинку, что крутилась когда-то по ночам у Нарциссо. – Ле солей э ле сабль... Но годы любви – тю мантан – сэт ир-р-репарабль... Он не может. А я вот могу. Все! Не хочу, что могу, а могу, что хочу. *Тю мантан?*

– А я нет. Не могу.

– Почему?

– Семя свое исцеляю. Хромосомы.

Альберт вывинтил с хрустом.

– Не поможет. Мутанты. Чтоб воскреснуть, должны умереть.

– Ну, давай. Будет, будет..

– Инес, за тебя!

90° это... это – глаза прикипают. К глазам.

– Сейчас я скажу.

– Что?

– Что запретили. Чего мне нельзя... – Альберт ухмыльнулся и всхлипнул – изумленно. Глаза помертвели, стеклянная.

– Сделай что-нибудь, – говорила Инес. – Ну..

Изо тра у него вздулся и лопнул пузырь:

– Друзья, я убил... Человека.

Александр наложил свои руки ему на погоны. ✦

– Успокойся. Все тут свои.

И захлебнулся. От удара под ложечку. Засмеялся, но внутренне. Вслух же не смог. Только выдавил:

– Друг..

И влетел в угол с вертикальной железной трубой. Пришел он в себя на проигрывателе. Из конверта со сверкающе потным от ярости – «*It's a man's world!*»\* – черным певцом вынул полдиска. Вдали на полу – прозрачный стеклянный кирпич, еще почти полный. Он все понимал, начиная с армейских полуботинок, на которые нависали, ломаясь по стрелке, брюки. Сверху ботинки блестели – сунул под вращение щетки в аэропорту. Снизу грязь, привезенная из-за Урала. Через бортик тахты Инес подала ему ложку. Супную. Гладковыпуклый холод на челюсть. Неужели ломал?

– Убил он... Тоже мне сверхчеловек. Дай руку, – протянул Александр как «хайль Гитлер».

И был поднят рывком.

---

\* Это – мир мужчин (англ.)

– Хайль, Альберт. Я насквозь тебя вижу.  
– Потому что такой же. Зиг хайль, Александр.  
Он ударил и промахнулся.  
– Бой с тенью, – сказал Александр. – Обучили?  
Спьяну он не поверил финту, и Альберт улетел ему за спину, кулаками вперед.

Инес вспрыгнула на тахту.

Сколько пыли, сколько солнечной пыли... Развернувшись, Альберт наступал:

– Потому что! – и бил. – Энтропия закрытых систем! И не только Москва! Сверхдержава еще загорится! Сама!

Александра притерло спиной. Дверцы треснули. Ломая фанеру перегородак, они провалились. Вместо кляпа Альберт заталкивал с языком ему «слипы». – Отдай ее мне... Ты молчи! – и затылком приложил о цемент. – Шанс мне дай. Обожди ты! – и снова по цементу. – Дай возникнуть. Дай выбраться... Друг, Сашок. Ты ж Россию любил? Что же ты, падло, стране изменяешь? Ты ж себе изменяешь, себе! – Ударил в левый глаз и заплакал. Ослабевая, обливая слезами, зубами он вырвал трусы и впился поцелуем, при этом кусая, – ну, с-сука.

Сбросив его, Александр продрался наружу.

К воде. К ледяной...

Но она еле теплая. В зеркало улыбался Альберт. В кровь разбитый. Александр был не лучше.

– Только глаза от нее и остались... Отдай.

– Послезавтра она улетает.

До послезавтра.

– Иди на х...

– Скажешь, любовь? Не способен.

– На все я способен.

– А убить человека? – Альберт снял со стекла его станок. Вывинтил «Жилетт» и резанул по воздуху. – «Любовь»... Знаю, что ты задумал. Что у тебя на уме.

– И в мыслях читать научили?

– А это наш долг. Предупреждать преступления. До того, как свершилось.

Александр сплюнул: струйка из крана стала размывать красный узел, обесцвечивая нити слюны. За спиной Альберт чиркал бритвой крест-накрест. Ауру полосовал.

– Красивый... Я такого, как ты, разрывными по сугробам разнес. Сволочь, изменник. Нарушитель границы.



Бросив лезвие, он размахнулся. Александр вылетел из зеркала, но удержался за раковину. Они сцепились, ломая друг друга. В ванной не было места. Альберт стал кусаться.

– Я тебя съем! – И смеялся, слабея. – Ам, ам!

Александр свалил его в ванну. Переключил воду на душ и ударил струей. Мундир намокал, и под тяжестью он перестал вырываться.

– Партбилет! Партбилет! – и колотил себя по сердцу.

Отлетела щеколда, ворвалась Инес.

– Перестань. Партбилет у него.

– Пьяный бред...

Она перекрыла душ. В квартиру стучали соседи – в двери, в стены и в потолок. Альберт вытащил красную книжечку.

– Умоляю, Инес... Под утюг.

Александр отпал к переборке.

– Друг... Неужели?

Стаскивая брюки, Альберт мутно взглянул.

– Я ведь помню, каким ты приехал. Девственник из-за Урала. Глаза, как Байкал...

Член залупился, но в порядок он его не привел. Вместо этого вывернул руку. Послушал часы, отстегнул их и хрястнул об пол.

– Мы в шоке?

И упал за порог вниз лицом. Александр приподнял его и заплакал. Толкнувшись в гостиную, увидел, что дом их пылает. Пламя рвалось к ним в окно. Он втащил тело на тахту и пошел за водой. Из цветочного ящика за окном она выкопала все окурки и посадила анютины глазки. Это было в их первые дни. По весне. Из этого вырос кустарник огня, загудевший от ярости, когда Александр опрокинул ведро. Одного не хватило, и двух было мало. В обугленном ящике все еще полыхала земля.

На кухне гудел парижский фен для сушки волос. Партийный билет в ее пальцах дергался бабочкой.

– Что с тобой?

Он втянул в носоглотку, размазал лицо.

Ладони были черны.

– С любовью лечу. Жаль, самолет не разбился...

На внутренних линиях они бились один за другим в том году.

Вот и все.

Он ничего не испытал, кроме сожаления по этому поводу. Отвалился на спину, со стуком уронив на линолеум левую руку. Было так жарко, что кожу мгновенно стянуло, он весь был в этой нежной коросте, в шелушащихся струпьях. Все. Только саднила и поднывала его истощенность.

Она отвернула матрас. Нашарила ручку, поднялась на колени. Грудь засияла, когда она повернулась на свет. «*Vis*» ее высох. Кончилась в трубочке кровь. И последняя дата вместе с клоком обоев сорвалась, оголив штукатурку.

Самолет был в три сорок. Минус до аэропорта. Время было, но...

– Еще собираться...

– Я готова.

– А вещи?

– Подаришь какой-нибудь...

Он сжал часы, навалился щекой на кулак. Запах гари его разбудил. На солнце пылала сине-красная книжечка – авиабилет до Парижа. В супной тарелке «Общепита», исцарапанной ложкой. Он обжегся, отбросил. Сжав руками колени, она наблюдала, как корчится пепел.

– Я теперь вне закона.

– Как все здесь...

– Но меня они станут искать.

– Не сегодня.

– Не сегодня, так завтра.

– А завтра, – сказал Александр, – уже не найдут.

## ПЕПЕЛ

Красный свет задержал их посреди Невского проспекта. Реклама уже угасала, но было светло и видно до Адмиралтейства, которое мерещилось в конце перспективы.

– *Гражданские сумерки*...

– Политический термин?

Он засмеялся.

– Географический. Так называются белые ночи. С другой стороны, они уже проходят, тогда как сумерки с Семнадцатого года, боюсь, уже навечно...

Дом был напротив – с парадным, осевшим под линию тротуара. Дверь с узорной решеткой. До боли знакомый за-

пах мочи. Битая, затоптанная, но мозаика пола. Узор решетки старинного лифта, кабина которого, если работает, то восходит со скоростью прежних времен. Завиток перил. Сточенный мрамор ступеней, выеденных посреди.

На площадке тень замерла посреди белых бедер. Сидящая в нише держала себя под коленки – каблук на весу. Выглянув из-за мужского плеча, ухмыльнулась.

Они поспешили свернуть.

– Здесь это так...

– *Déjà vu\**.

– А коммуналку?

– Только московскую.

– Сейчас сравнишь...

Двойная дверь по краям была усеяна звонками всех времен и систем. Он нашел кнопку образца 60-х. Из комнаты в глубине доносился звонок. Он постучал. Подлетели шаги.

Мальчик Ипполит вырос и попрозрачнел. В темноту коридора сникали двери, возле каждой громоздились предметы. На шкафу рядом с дверью сестры Александра – корытце из цинка.

– Музейная редкость.

– Еще бы. Меня в нем купали.

– Вот в этом?

Ипполит подал голос:

– Где ее ключ, не забыли?

Ключ был в пыли на шкафу, а на скважине старомодная здесь висюлька – против визионеров былых и наивных времен.

Проводка все еще внешняя. Он вспомнил, что выключатель разбит и осторожно щелкнул. Экономная лампочка озарила типичный ленинградский пенал – результат Катастрофы. Потолок бывшей залы с лепным украшением был разрублен, от ангелочка осталась лишь нижняя половина.

Клином жилплощадь сходилась к окну.

Он ее обнял.

– Никогда не найдут. Тебе нравится?

– Я помыться хочу.

Заложив руки за спину, мальчик на кухне наблюдал за дворовыми окнами, где маячило дезабилье. Стены в каст-

---

\* Здесь: Уже видела (фр.)

рюлях и трубах, над головой вперекрест бельевые веревки. Пять газовых плит взрывоопасного вида. Он поставил корытце под кран. Спички питерские: красно-желтая этикетка по-английски. Излишки экспорта. От вспышки газа он отпрянул. Снаружи был Питер, но внутри Ленинград.

– Бог Москву, говорят, наказал.

– Есть за что.

– Правда, что там все проваливается в тартарары?

– Под Москвой.

– А сама?

– Еще держится. Но дышать уже нечем.

– Подышать к нам приехали?

– Отдышаться.

Обогнав, мальчик открыл ему дверь. Александр внес корытце и не расплескал.

– Мадемуазель.

– Тетя не русская?

Александр обернулся.

– А что?

– Просто так. Мама на кухне моется. Я дверь ей держу, чтобы сдуру никто не вошел. Надо тихо, чтоб не плескалось. Но сейчас никого, так что мойтесь спокойно... *Мадам*.

Александр вышел за ним в коридор. Обои вокруг телефона испещрены номерами. Он снял трубку, набрал неуверенно и, наслушавшись длинных гудков, положил – еще черную, как было в детстве.

Мальчик попросил набрать ему «точное время». Послушал, вернул и вздохнул.

– Загуляла моя мама.

– Право имеет.

– У нее сейчас, знаете, финн. Приезжает к нам на уик-энды. Вы бывали в Финляндии?

– Издеваешься?

– Есть Финляндский вокзал, а поехать нельзя. Почему?

– Потому.

– Это близко. Кроме водки, там все есть.

– Например?

– Сыр «Виола».. Ну, все. Близок локоток, а не укусишь.

– Еще укусишь.

– Не знаю... У этого финна семья.

За дверью вскричала Инес.

Сведя груди локтями, она стояла в корытце.

– Что это?

– Где?

Ипполит удивился.

– Разве в Москве нет клопов?

Она с трудом распечатала пачку. Франков, сбереженных Инес, чтобы взять такси от парижского аэропорта домой, хватило на этот блок «Пелл-Мелла», который она перед отъездом купила в магазинчике для иностранцев гостиницы «Украина».

Курили они в коридоре.

Согласно традиции, пойти было некуда. Можно было лишь только уйти. В Петербург – и рыдать до зари. (Или в подъездах е...ся. Или свергнуть на х... режим.)

Сил не было даже по второй закурить.

Вдоль пенала посвечивала леска – индивидуально сушить белье. Они забросили на нее всю одежду и подвесили обувь – прищепками. Тахту от стены отодвинули и застелили взятой из шкафа простыней (под которой был спрятан тамиздатский томик Бродского – «Остановка в пустыне»).

– Ложись.

– А ты?

Он ответил цитатой из Кафки:

– Кто-то должен не спать.

Она сложила руки под щеку и поджала колени. Он взвел, зафиксировал колпак лампы. Прожекторный свет залил подступы к иностранному телу.

Взяв с полки «Русские ночи», он взгромоздился на стул.

Но забыться не смог. Коммуналка разъехалась на уик-энд, оставив клопов без крови. Всеми силами они двинулись на гостей. Самой вожделенной оказалась Инес. Словно сговорившись в какой-нибудь штаб-квартире за обоями, клопы появлялись одновременно с четырех сторон. Нависая над спящей иностранкой, Александр отбивал атаку скрученной в жгут «Ленинградской правдой». Пробовали и с потолка. Но при всех своих интеллектуальных способностях коэффициента сноса не учитывали. Выгибаясь акробатом абсурда, он отбивал их атаки. Невозможно, чтобы эти клопы добрались до священного тела Европы (которой в ленинградской ночи Александр был последним защитником – с риском шею свернуть).

Утром они вышли в Петербург.

Невский был пуст – весь, до искры Адмиралтейства.

– Как красиво...

Зевок свел ему челюсти.

– Сейчас бы кофе с круассанами. Большой «боль» кафе-о-ле. Но перед этим ванну с пеной...

В полуподвале булочной на углу купили два маковых бублика. Съели их, свежих, в сквере у метро, название которого ему всегда казалось издевательским: «Площадь Восстания».

Из метро вышли через одну.

– Там, направо, писались «Братья Карамазовы».

– А налево?

– Детство. Одетое камнем...

Через Звенигородский и коридором Щербаковского переулка они вышли на улицу Рубинштейна, где он обратил внимание Инес на голубую стеклянную вывеску:

– Сексологический центр. Первый под властью тьмы. Символично, что возник он в эпицентре обскурантизма, где ковались мои комплексы. Вот в эту дыру.

Стены подворотни были облуплены, но не сочлились. Они вышли на пяточок двора. От мусорных баков пахло гнилью.

Со дна пролета возвращалось эхо безрезультатных стуков в дверь.

– В блокаду у бабушки лопнули барабанные перепонки.

– Сколько ей?

– В год Катастрофы было, как нам. Квартиру им купили на свадьбу. Весь этаж, но осталось немного. Эта дверь была черного хода. Стала единственной, прямо на кухню...

Они сидели на ступеньке. Поднося сигарету, он в пальцах ощущал невесомость.

– Что будем делать?

– Вернемся.

– В Москву?

– В Петербург.

В Зимнем дворце неопиты устремляются по галерее Растрелли на Главную лестницу; он же увел ее тайным маршрутом – направо, где гулко и сумрачно.

Сквозь Древний Египет, Вавилон, Ассирию – в классическую античность. (Эрекция, от которой он прихрамывал, как инвалид, достигла апогея в зале Двенадцати колонн. К одной он припал.)

– Повалю сейчас на саркофаг.

– Жестко.

Обнявшись, они вплыли в зал, полный статуй. Странно было держать руку на живом бедре.

– Тот юный, растленный – ты видишь? Гиацинт.

– А лысый?

– Ну, как же... Сократ. А это натурщица...

– Чья?

– Моя.

Кто отнял ей белые руки? Нависая своими культями, Венера Таврическая с тоской созерцала вид во внутренний двор. Тогда, в отрочестве, главными врагами были старухи в темно-зеленой униформе, по одной на зал. Они зорко следили за метаниями Александра вокруг постаментов. В руках у него был блокнот с подставленной страницей и обкусанный карандаш. Сросшаяся с Венерой идея неприкосновенности, неприкасаемости, сводила с ума пигмалиона в пионерском возрасте. Ползая глазами по мрамору, он пытался перерисовать эти груди, рельеф живота, этот широкий треугольник, приводящий в тупичок тотального безумия. О раскрой! Приоткрой эти бедра, соверши свой шаг – ведь и пятка уже полуприподнята. (Холм Венерин отшлифованно, отцензуровано наг. Так и не встретилось ему в Эрмитаже волосатой, как в жизни оно оказалось: римский мрамор курчавился только над кроткими признаками отроков и эфэбов, с которыми отождествиться было невозможно. Не отсюда ли, из зала Античного Рима под номером 18, появилась склонность брить девушек? С помощью, помнится, маминых загнутых ножничек, а затем электробритвы «Харків» – подарком к аттестату зрелости.)

– На нас уже смотрят.

Он снова затормозил – перед бронзовой статуэткой. Этрусской. Пятый век до нашей эры. «Мальчик на погребальной урне».

– А это?

– Я.

За витриной кафе Александр увидел, можно сказать, родственника. Который ел мороженое из вазочки. В одиночестве.

– Атлет с залысынами – видишь? Муж моей крестной. Мамонов.

– И?

– Подойди сзади и закрой ему глаза.

В недоумении Инес исполнила – подошла к стулу и погрузила незнакомца во тьму ладоней.

Александр сел перед ним, поставил локоть. Столик подпрыгнул. Черно-смородиновое мороженое капнуло с ложечки. Наконец Мамонов надумал.

– Вы обознались, милая гражданка. Я – не он.

Глаза открылись – с красноватыми прожилками.

– Быть не может?

Александр пожал ему руку.

– Но каким же?..

– Вот, слоняемся по Союзу. Инес, позволь тебе представить...

Привстав, Мамонов приложился к руке. Потом обратился вопрошающий взгляд.

– Инес – парижанка.

– Рижанка?

– *Па*-рижанка.

Мамонов осмотрел стойку, выпел, добытый этим кафе на Разъезжей улице в борьбе за коммунистический труд. Удостоверившись в незыблемости мира, несмело улыбнулся:

– Баку?

– Почему Баку?

– Ну, говорят же... *Маленький Париж*. Я угадал?

Бабушка в одиночестве пила чай с блюдечка. При их появлении в лице она не изменилась. Внук прокричал имя своей любовницы. На груди у бабушки лежал слуховой аппарат. Она наставила мембрану на Инес.

– Как?

Инес повторила.

– Не стесняйся, – сказал он. – Кричи.

Расслышав, бабушка посмотрела с сомнением.

– Инес из Парижа. Из Франции!

– Слышу, слышу. Не такая уж тетеря. Садись, милая.

Импортные кресла на алюминиевых ножках были укутаны в полиэтилен. Модерн, заброшенный терпеливым Мамоновым, в тылу последней из могикан Империи Российской. Резной буфет, отворяясь, дохнул валерьянкой.



– У вас там, верно, кофе заведено. Здесь мы кофейничаем утром. А сейчас, не обессудьте... Будет чай.

И поставила перед Инес блюдце с чашкой.

Когда высоко на стене часы пробили полночь, Мамонов со словами «завтра дел невпроворот» выключил телевизор и поднял руку.

Бабушка опустила на экран салфетку.

– Барышне я постелю в дальней комнате. – Под столом он положил руку на колено Инес, что от бабушки не ускользнуло. – Может, вам не по нраву, но у меня будет так. Идемте, милая.

Многоярусная люстра освещала островок Петербурга. Над оттоманкой с подушечками, вышитость которых еще помнили щеки, висела картина мариниста, так и не уступленная дедом Русскому музею – несмотря на послевоенный голод. В углу столик с причудливыми ножками, так занимавшими его в детстве, был закрыт плотно сдвинутым овалом треснувшей мраморной доски. Под салфеткой на ней стоял *Telefunken* – память о победе отца Александра над Германией. Благодаря трофейному циклопу, еще в детстве он узнал, что есть и другой мир – голоса которого забивал ржавый вой глушилок, приводивших в безумие этот рысий, зеленый, ныне мертвый глазок. Александр потянулся, разворачиваясь по оси. Колоннада буфета. Буль-эбен в перламутровых лилиях. Для него собиравшаяся классика за стеклами книжного шкафа. Швейная машина фирмы *Singer* с узорной педалью – первооснова выживания рода. Под иконостасом – алтарного вида этажерка из карельской березы в подернутых бирюзой латунных завитках. На ней Александр впервые увидел урну с прахом своего отца. Этот ящичек, вместе с ним, полуторамесячным, привезенный матерью из Германии, давно уже похоронили. Все это будет сдано в комиссионку, когда бабушки не станет.

Взгляд скользнул по венчальной их с дедом иконе, по лику Христа и вернулся на скрип паркета.

Она села и положила на стол свою старую руку.

– Откуда барышня? Ты давеча сказал...

– Париж.

Она сделала вид, будто речь о Содоме с Гоморрой.

– А у нас по какой надобности?

– В университете училась.

– Оставила?

– Кончила. У нас, – он добавил, – иностранцев там много.

– Да уж знаю... – Под клеенку она складывает вырезки из газет. Одну из них вынула и толкнула ему через стол.

Внук только покосился. В отличие от бабушки он игнорировал партийно-советскую прессу.

– Уж ты мне прочти.

«КОГДА РАДУШИЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ...» Под этим интригующим заголовком речь шла о некоторых – в семье не без урода – стажерах и студентках из-за рубежа, которые контрабандой протаскивают в МГУ чуждую нам мораль и враждебные взгляды. Сбивая при этом отдельных морально неустойчивых и политически незрелых советских студентов. Стажер из Канады – назовем его Т. – повесил в общежитии на Ленинских горах портрет... Николая Второго. Другая «эмансипе» из Франции сочетала разврат с распространением подрывной литературы. И тому подобная гэбэшная блевотина... Иностранцы студенты выдворены восвояси, советские исключены. Ряд лиц привлечен к уголовной ответственности.

– Ну?

– Боюсь я, внучек. Один ты остался у меня.

Из-за венецианского окна донеслась гитара, глубоко внизу выпускники средних школ выходили в «Большую жизнь». Газета задымила на абажуре лампочки, освещавшей фотографии на этажерке. Прапорщик царской армии. Лейтенант – Советской. Он прихлопнул книгой кнопку и взялся за перекладину изголовья – ребристую и с шарами, в детстве не отвинченными. На этой кровати умер дед, а возможно, и зачали его отца. Только зачем это было?

Сумрак озаряла лампада.

Едва раздался бабушкин храп, он откинул одеяло...

Когда они блуждали в обнимку по Летнему саду, вдоль канала Грибоедова и прочим литературным местам и мостам, он не вынимал из кармана свой левый кулак. Брюки облегали, и бугром кулака он массировал другой – по соседству. Правая рука обнимала Инес, сохраняя ладонь на бедре. Притершись, они шагали по гранитным плитам, а побочный эффект то отливал, прижатый резинкой, то пытался прорваться уже из-за пояса брюк – когда встречный дом был, к примеру, под номером 69.

Он натягивал свой джемперок.

Это длилось часами – они шли, он стоял. В ожидании ночи.

Они были белые – цвета спермы. Такого бесстыдства они с ней не знали. Словно Эрот брал свое, воздавая за сексуально забитое детство. Вспоминая московский дебют, они диву давались. Пребывая в законе, они бы не расковались. Под тотальным запретом все дозволено стало. Убирая руки с его плеч: «Теперь я, я хочу» – торопилась она на колени, сшибаясь с ним лбом по пути.

Раньше здесь была «шамбр де бонн» – для прислуги. Стены не шире окна, за которым сочились гражданские сумерки на фоне брандмауэра – глухом и облезлом.

Врозь просыпаясь, они сходились за кофе – под испытующим взглядом бабушки. Стол был накрыт накрахмаленной скатертью с вензелями паровой компании «Лондон-Гамбург-Петербург».

– Сегодня куда, молодые люди?

Под ними был весь этот город в устье суровой реки – до Кронштадта. По смотровой площадке Исаакия они обошли панораму и вернулись к виду на Адмиралтейство.

Кораблик на шпигеле сверкал.

– Приезжая американка, парижский маргинал. И выстрел, которым его остановили на бегу. Я чувствую себя, как в фильме.

Он взялся за перила.

– Ничто меня не остановит.

– Ты думаешь?

– По крайней мере, до 29. Потом я, может, сам покончу.

– Почему?

Он показал на дымный горизонт за Охтой.

– Пепел там похоронен. Отцу было двадцать девять.

– А тебе?

– Двадцать четыре.

– Пять лет. Это целая жизнь. Проживем ее вместе?

– Если хочешь.

– А ты?

В подвальчике они приняли расхожий питерский коктейль, сто шампанского на сто коньяка, и на подводных крыльях улетели в Финский залив.

В черной воде inferнальными дирижаблями висели использованные презервативы.

Он протрезвел. Она дрожала под ветром. Последним бликом солнце еще держалось на куполе Исаакия. Описав пенистую дугу, прогулочный катер повернул обратно.

Ночи их кончились в полдень. День был жаркий. Сложив весла, они зыблились в пруду на Островах. В окрестной листве вдруг шипеньем обозначился громкоговоритель.

– Внимание, внимание! – объявил на весь парк взволнованный девичий голос.

Он отозвался иронически:

– Работают все станции Советского Союза. Сейчас объявит апокалипсис.

Из листвы раздалось:

– Говорит радиоузел Центрального парка культуры и отдыха. Отдыхающая у нас гражданка... **ОРТЕГА ИНЕС**. На ваше имя поступила телефонограмма. Вас просят срочно вернуться в Москву. Повторяю...

Весла вывернулись из уключин. С берега парочки взирали на них с любопытством. Инес хваталась за лилии, их желтые стебли все лезли и лезли наружу, бесконечные, как в кошмаре...

– Стой!

Он задрал весла, но затормозить не успел. Инес лбом разбила ему губу.

– Я не уеду. Ты веришь?

Возвращались они солнцепеком. Стояли на старом деревянном мосту, глядя, как влетают в его тень стрелы многоруких байдарок. Несмотря на опущенные стекла, в автобусе было душно. Уплыла из вида бирюзовая мечеть. Тартарская, куда не успели. Просторная, как империя, уплыла Нева. Пестрело цветами Марсово поле. Автобус шел по Садовой, через Невский, потом налево под арку и по площади, огибая бюст Ломоносова с надписью, которую с детства он знал наизусть: *Отрок, оставь рыбака! Мрежи другие тебя ожидают...*

Через Фонтанку – мимо арок с цепями.

На Разъезжей они вышли. Июль, после полудня. У Пяти Углов вяло жужжала убогая жизнь.

– Вот увидишь, – сказала она.

Бабушка и Мамонов смотрели на телефон, который стоял на холодильнике финской фирмы «Розенлев». Они не успели перевести дыхание, как пошли звонки.

– Это вам, – указал Мамонов.

Инес замотала головой. Мамонов снял трубку, приблизил ухо и отдал:

– Вам. Москва...

Она взяла, отвернулась. Когда она заговорила не по-русски, Мамонов взглянул. Только сейчас он поверил, что она не советская, и в глазах его Александр прочел сострадание: «Так-то, брат...» Он был из Мурома – неиспорченный человек. Когда-то мастер по слалому. Реакцию он еще не потерял, поймав трубку, которую Инес положила мимо холодильника.

– Висенте...

– Кто?

– Отец. Он в Москву прилетел.

Александр оглянулся на бабушку, которая, не слыша ничего, сидела посреди кухни, эпически сложив руки.

– Откуда он узнал, где ты?

Инес не ответила. Она закрылась в отведенной ей шамбр де бонн. Он толкнулся следом, но был остановлен Мамоновым:

– Тут вот... На билеты вам.

Александр взял деньги и поднял глаза.

– Я тебя засветил.

– Ничего...

– О том, где мы, не знал никто. Понимаешь?

– Понимаю. Зря хлеб не едят...

Бабушка вышла на лестницу и перекрестила обоих – через пролет. При расставаниях она не обнаруживала слез – в отличие от внука-невротика.

Мамонов проводил до вокзала.

– Все это, конечно, выше моего понимания, но вы вот что, ребята... – Он пошел за вагоном. – Вы держитесь. – И догнал, чтобы крикнуть: – Вдруг, понимаешь, судьба?

Прослезился, пропал.

Они остались в тамбуре. Питер в то лето был завален индийскими сигаретами, очень едкими, и они их докуривали. Она не уедет, говорила Инес. А если придется, то следующим летом вернется. На машине приедет. В Париже багажник набьет сигаретами – капорал. *Les blondes*. И мы все повторим. Петербург..

Он курил и кивал. Он не верил. Ни во что. Только в то,

что *сейчас*. Он лишь на чудо надеялся. Вдруг сгорела Москва?

Но Москва не сгорела.

– На Арбат.

– Куда именно?

– Я покажу...

Когда приехали, она вырвала руку и открыла дверцу на проезжую часть. «Вот увидишь!..» Не оглядываясь, пересекла улицу, скользнула меж черных «Чаяк», поднялась по ступеням и исчезла в турникете. Вывески никакой.

Таксист повернулся.

– Здесь я стоять не могу.

– А что здесь?

– Не видишь? Логово ихнее.

– Сигареты, – сказал Александр, – у вас не найдется?

– И без этого гарью месяц дышали. Не курю и тебе не советую. Дальше куда?



В немецкой книге под названием «Революция отвергает своих детей» я нашла свидетельства того, что в СССР он сумел остаться трезвенником. Не только в смысле водки, с которой он вел бескомпромиссную борьбу как староста Испанской группы Высшей школы Коминтерна. Когда к нему в номер как бы по ошибке попадали развязные женские голоса, он неизменно клал трубку на рычаг. Было начало 1945-го, и после отпуска Коминтерна его вызвали из глубокого тыла и поселили в гостинице, известной всем, кто когда-нибудь распечатывал бутылку «Столичной», на ярлыке которой неизбежно изображен угрюмый конструктивистский небоскреб.

По ночам он не спал.

После визита «электриков» номер прослушивался, но ванна все так же протекала и было жутко холодно.

Погасив свет, он смотрел из окна на темный Кремль и площадь, заносимую снегом. При этом он курил, пряча огонек папиросы в ладони.

Эта гостиница была первой школой страха в Советском Союзе, который за трактора выкупил из алжирского конц-

лагеря бывшего *comandante*\* Республиканской армии. В конце 30-х жильцов отсюда выселяли неожиданно – по ночам и под конвоем. Тогда, перед большой войной, Висенте повезло, но в одну из этих январских ночей его поднял стук в дверь.

– Товарищ Ортега?

– Я.

– Пять минут вам на сборы.

– С вещами?

Полковник госбезопасности засмеялся.

Шофер чистил стекла машины. На заднем сиденье – Димитров, Пасионария и Мануильский, который опустил для Висенте приставное сиденье. Смуглый, усатый и маленький, как испанец, Мануильский вместе с Димитровым возглавлял в ЦК отдел связи с партиями за рубежом.

Обогнув площадь, машина поднялась к сторожевой башне. Место полковника впереди занял другой офицер.

Машина въехала в Кремль.

В прожекторном свете над площадями бесновалась метель, заметая Царь-Пушку и Царь-Колокол.

У входа в невысокое длинное здание машину ждал офицер.

Внизу у лестницы они сняли пальто и причесались перед зеркалом в золотой раме. Сквозь поредевшие волосы Димитрова просвечивала кожа черепа.

В кабине лифта был офицер.

На первом этаже они вышли на красную дорожку. Чистота была стерильной, дверные ручки сверкали, на каждом повороте стуком каблуков делегацию приветствовали рослые молодцы в голубых фуражках и с каменными скулами.

В небольшой канцелярии их ждали двое, красивый блондинистый генерал госбезопасности и какой-то штатский – низкий, рыхлый и с грубым лицом. Штатский предложил садиться, неторопливо поднялся и скрылся за дверью. Вернулся он нахмуренный.

– Можно входить.

Молотов стоял у длинного стола для совещания. На стене портреты русских военачальников – Суворов и Кутузов. Министр иностранных дел был в европейском костюме – плотный, короткорукий, лобастый.

---

\* Майора (исп.)

Открылась дверь, показав огромный глобус за спиной старичка с трубкой. Он был ниже даже Мануильского. Несмотря на маршальский мундир с золотой звездой Героя Советского Союза, выглядел он тщедушно. Волосы и усы сквозили. Не расставаясь с английской трубкой, он пожал руки всем, включая молодого испанца, который представился:

– Ортега.

Старик ответил:

– Сталин.

У него были желтые глаза.

Возглавив стол, он сел под портретом Ленина. По правую руку – Молотов. По левую – гости. В отдалении сел не красивый штатский.

На «ты» Сталин был только с Молотовым, всем другим говорил «вы». Иногда он откладывал свой «Данкилл» и брал синий карандаш, чтобы заштриховать очередной пункт беседы. Когда он посмотрел на Висенте, испанец заставил себя не вскочить.

– Значит, когда речь зашла о десанте на Пиренеи, вы сделали шаг вперед?

– Товарищ Сталин! Этот шаг сделали мы все.

– Боюсь, это было преждевременное решение. А что, хочется вам домой?

– Так точно, товарищ Сталин.

– Замерзли у нас в России?

– В Испании тоже бывает холодно.

– Где же это?

– В горах, товарищ Сталин.

– А вы откуда?

– Из Андалузии.

– Из крестьян мне сказали?

– Так точно.

– Кто у вас там?

– Мать, сестра, брат.

– А отец?

– Убили.

Сталин нахмурился.

– Франкисты?

– Нет, товарищ Сталин. За игрой в карты.

– Не иначе, как передернул?



Черные зубы курильщика были загнуты внутрь. Отсмеявшись, Сталин вытер глаза.

– Домой вы вернетесь, товарищ Ортега. Но, боюсь, что не скоро. Генералиссимус Франко – серьезный противник. Главная ваша задача на ближайший период – восстанавливать партию. Искать свой национальный язык, учиться бороться в условиях вашей собственной страны. Ради этого, товарищи, мы и пошли на ролепуск Коминтерна...

В завершение встречи Пасионария спросила, нет ли замечаний по работе.

Замечаний не было.

– Вы ведь лучше знаете, что надо делать... – Мягко поднявшись, Сталин завел кулак:

– Но пассаран!

Выводивший их офицер госбезопасности еле сдерживал восторг.

Метель кончилась.

Над Кремлем полыхало невиданное небо. Бездонное, чистое и холодное, в ту ночь оно было пурпурным – цвета Победы.

Висенте покинул Москву на военном самолете – вместе с Пасионарией. Из разрушенной Одессы на греческом судне они вышли в море, полное мин. В Порт-Саиде пересели на египетский сухогруз. Капитан, русский белоэмигрант, говорил по-французски лучше, чем Висенте. А говорил он, что аристократическая мать молодого и любознательного испанца дает ему ощущение «дежа вю».

По пути в Марсель Висенте выглядел так, что никто бы не сказал, что он всего месяц назад из Башкирии, куда во время войны эвакуировали Высшую школу Коминтерна. В Москве ему подобрали швейцарское пальто и костюм из бельгийской фланели. Узкие длинные кончики воротника рубашки, пусть заносившейся, разделял узел итальянского галстука. Легкая смуглость покрывала мягкие черты лица постоянным загаром. Поволока смягчала интенсивность живых его глаз. Блестящие черные волосы зачесывались назад, открывая большой лоб, тронутый поперечными, вполне интеллектуальными морщинами. Он выглядел старше своих тридцати, этот умеренный изгнанием левый радикал. Музыкант, рисовальщик, поэт – из круга Гарсии Лорки. Никаких пороков и привычек – кроме приверженности к матери и сигаретам.

Во время стоянки в Каире Висенте убедил Пасионарию прогуляться в пустыню. В Гизе, пригороде египетской столицы, они наняли провожатых и следующие восемь километров проделали на верблюдах.

«Отец ужаса», знаменитый Сфинкс, имел оттопыренные уши и смотрел сверху остатками глаз и носа, съеденного раком времени.

Пирамиды оказались намного выше Сфинкса. Даже самая маленькая Микеринос была в шестьдесят метров. Кефрен и Великая на глаз были равны, но из «бедеккера» он знал, что Великая выше на метр – 137.

Висенте слез с верблюда.

Над пирамидой кружил орел.

– Ты с ума сошел, – сказала лже-мать, но он уже сбросил пальто и полез по скользким плоскостям, оставляя внизу провожатых, верблюдов, Пасионарию – они становились все меньше.

После Башкирии он был в отличной форме, но, выбравшись на вершину, повалился навзничь. Он лежал и восстанавливал дыхание. Камень был плоским и белым от высохшего помета птиц.

Подняв голову, он увидел над собой бедуинов. Их было трое – с кинжалами. В центре площадки стояла мягкая канистра, были расстелены коврики, потрескивал прозрачный костер. Висенте улыбнулся и сел. Почернелый клинок отвернул полу его пиджака, но кассу будущей партии держала Пасионария. Висенте с удовольствием вывернул пустые карманы. Кинжал царапнул его по запястью. Часы. Эти золотые швейцарские часы Висенте получил в Москве – для завершения образа европейца. Он отстегнул их, отдал. Что еще? Да. Заколка для галстука. Обсуждая приобретение, бедуины удалились на коврики – молиться Аллаху в ожидании очередного покорителя.

Висенте поднялся, отряхнулся.

Галстук взлетел ему на плечо. С вершины памятника рабовладельческого строя горизонты сияли как будущее всего человечества. За лугами, испещренными каналами, за сиянием реки с ее раздвоенными парусами розовели минареты, а пустыня сливалась с алым небом.

Жизнь была впереди.

Свернув с Арбата в переулок, Александр прищурился на сверкающий хром лимузинов.

То, что вчера из такси показалось одиночным зданием, было целым комплексом – за высокой стеной. Со стороны переулка стена примыкала к фасаду. Простенки меж окнами говорили о размере комнат. Окна зашторены. Бетонный навес над крыльцом с колоннами и въездом – чтобы прямо подъезжать к турникету.

Опустив на глаза козырьки фуражек, шоферы в лимузинах дремали.

За крыльцом, в другом крыле, одно из окон открыто. Раздвинув шторы и занавеси, человек за ними курил сигару. Развязанный галстук на белой рубашке. Он скосил глаза. Могучий старик с пепельно-лиловым лицом и тяжелыми веками. Будучи черным, он не мог быть отцом Инес. Впрочем, кто знает...

Снова стена, но с воротами. Железо их сдвинуто. От угла стены он повернул назад. Черный человек все так же курил сигару, но в глазах возникло недоумение. Шоферы лимузинов скосились из-под своих козырьков, наблюдая, как в тень восходит непривычный для них персонаж.

Отделанный листовой латунью турникет пришел в движение и удалился, оставив Александра внутри.

Из-за колонны шагнула фигура в штатском.

Он сглотнул:

– Я к одному человеку...

– Из газеты? По какому вопросу?

– По личному.

Следуя за пиджачной спиной, Александр оглянулся. Интерьер как в фильме про Запад. За колоннами кресла светлой кожи и с огромными спинками. Перед ними на мраморе газеты. Иностранные – судя по кричащей огромности заголовков. Его подвели к конторке, за которой, опустив голову, стоял человек в черном костюме. Он что-то там делал руками. В ящичках распределителя за ним лежали ключи с латунными бирками.

Человек поднял голову.

Оставляя потный след, Александр снял руку с конторки.

– Ортега, – сказал он. – Мадемуазель Инес...

– Ваш паспорт.

– Мне только увидеться.

– Паспорт.

Общегражданский внутренний паспорт был цвета прокисшей горчицы. Человек раскрыл слегка вогнутую книжку и сверил его с фотоснимком три на четыре. Опустив глаза, он переписал данные и выложил паспорт на стойку. Перевернул там страницу гроссбуха.

– Нет таких.

– Ортега, – сказал он. – Инес?

– Нет.

– Но вчера ведь была?

Александра взяли под локоть.

– Прошу...

Турникет его вытолкнул.

Шоферы из лимузинов стрельнули глазами.

Горизонт напротив закрывала громада высотного здания МИДа – сталинского близнеца МГУ. Он отлепил рубашку. Он взмок от пота, но только сейчас осознал, как прохладно там было – в логове.

Зной. Неподвижность. Но нужно идти...

А куда?



– Ну, здравствуй... Не ожидал?

– Здравствуй.

– Один, надеюсь?

Она переступила порог. Накрашенные губы, подведенные глаза, взбитые волосы. Персиковый грим поистерся на скулах. Строгий импортный костюм – юбка и блузка с кружевным воротником. Жакет перекинут через руку, в которой большая бутылка вина.

– Тебе... Ты меня поцелуешь?

От нее пахло транспортом и польскими духами «Быть может». Она возмутилась, когда он чмокнул ее в щеку:

– Не узнаю, Александр?

Венерин холм расплющился о его кость, язык ворвался ему в рот. Во всем этом было нечто истеричное. Он перехва-

тил ей руки, на правой было обручальное кольцо – она всегда мечтала о таком.

– Я вышла замуж.

– Ты?

– За офицера. Уезжаю в ГДР.

– Когда?

– Сегодня в ночь. Что же ты молчишь?

– Поздравляю.

Она бросилась в ванную, где защелкнулась.

На кухне он курил «Север», глядя на воду, бегущую по бутылки «Мильхлибефрау». Отрыдавшись, она переминалась перед зеркалом.

Явилась она с иностранной коробочкой.

– Мэйд ин Франс... Что это?

– Тампоны.

– Для чего?

– Менструальные.

– Нет? – Она надорвала бумажку, извлекла картонную трубочку, внутри которой был тампон на нитке. Усмехнулась смущенно и недоверчиво.

– И это они туда?

Он кивнул.

«Какой разврат», – ответили ее глаза.

В их прошлой жизни она подкладывала вату.

– Изменял мне с западной?

– А что?

– Высоко летаешь. С кем хоть?

– Марину Влади у Высоцкого отбил.

Она захохотала. Вставила тампон обратно и закрыла коробочку.

– В ГДР, наверно, тоже есть такие.

– Надо думать.

Она вернулась снова – с двумя бокалами из хозяйского серванта.

– Штопора так и нет?

– Нет.

Он вбил пробку в бутылку.

– Немецкое, между прочим. Настоящее сухое.

– Вижу.

– Пьем молча.

Вино было теплое. Он снял с языка крошки. Она прикурила от газовой зажигалки. Курила она «Золотое руно».

— А что было делать? В болоте увязнуть? Сам говорил, что я похожа на эту, как ее...

— Ты похожа.

— Вот я и буду. *Мисс Вюнздорф*. Презираешь?

— Нет.

— Ненавидишь?

— Нет.

— Значит, друзья?

— Ну, конечно.

— Дай пять.

Он посмотрел на золотое кольцо и пожал ее влажную руку.

— Жарища сегодня...

— Август.

— Как раз три года, между прочим. Помнишь тот спальный мешок?

Он свел три пальца.

Секрецию помню. Юных ваших желез.

— Замолчи.

— Не с чем сравнить, не впадая в почвенничество. С березовым соком? Росой на заре? Я имею в виду консистенцию.

— Бросить в тебя бокал?

— Сок возбуждения. Который подтирался трусами. Исподтишка.

— Потому что я стеснялась! В отличие от тебя. Все тебе нужно сказать... Неужели не стыдно?

— Может быть.

— Есть вещи, о которых не говорят. Даже любовники.

— Бывшие.

— Тем более. Ты этого никогда не понимал.

— *Не принимал*. Надо все сказать.

— Зачем?

— А так. Чтобы знали.

— А то мы без тебя не знаем. Не такие мы тупые, как ты себе рисуешь.

— Знаете, но молчите.

— Зато мы живем.

— В молчании.

— Смотри. Договоришься.

— А это я е...

— Я встретила на рынке твою мать. Она говорит, что ты

никогда не выражался. Всегда был культурный мальчик. За это я тебя и полюбила... А почему у нас не вышло, знаешь?

– Страна не для любви.

– Сразу: «страна». Переспал с западной и рассуждает уже, как иностранец. Это все я. Когда у нас была любовь, я тебя ненавидела. Потому что *несправедливо*. Ты в Москве, я в дыре. Ты талант, а я дура. Ты мужчина, а я, понимаешь ли, дырка от бублика. А сейчас ты мне нравишься снова.

– Диалектика души.

– Нет! Потому что теперь мы друзья. – Двумя пальцами она оттянула блузку. – Жарко... Приму-ка я ванну. Помнишь, как... Нет. Лучше не надо. А то снова начнешь. Ты всегда меня шокировал, знаешь?

– Разве?

– Все три года.

Когда она вышла, он взял нож. Расстегнул рубашку и приставил к соску – лиловому и в волосках. Который вдавился вместе с кончиком. С одной стороны, было больно, но с другой – все равно.

Она перекричала шум воды:

– Принеси мне вина.

Он отложил нож. Пятно волос шевелилось, сияя и пузырясь над поверхностью, вода, которая лизала ее между грудей, отхлынула. Взяв свой бокал, она взглянула так, что он испытал к ней жалость.

– Не уходи.

Он присел. 21 – но ванна уже ей тесновата. В этой стране отцветают они, как яблони. Он себя чувствовал, как при матери. Подростком.

– У меня чувство, что я тебя предаю.

– Почему?

– Я в Дойче Демократише, а ты...

– Ничего.

– А что ты будешь делать?

– Когда?

– Вообще. В этой жизни?

– Что в ней делают? В ней пропадают. Кто-то, правда, и с музыкой.

– Ты хочешь с музыкой?

– С машинкой.

– Почему ты такой пессимист? Вдруг еще станешь писа-

телем? А я тебя буду читать. В библиотеке Дома офицеров возьму твою книгу и никому не скажу, что когда-то я знала тебя, как...

Она допила свой бокал и поставила мимо.

Он очнулся. От заката груди ее лоснились.

– Стол заказан.

– Какой?

– Отвальная, или как там у них называется... Надо ехать. Царить.

– О-оо... У нас что-нибудь было?

– Как сказать... Не до финала. – Отвесив грудью пощечину, она увлеклась, раскачиваясь над ним. Справа, слева. Он закрывал глаза от этих мягких и тяжелых толчков, ощущая при этом шероховатость своих щек. – Но если ты хочешь... По-быстрому, а?

– Я не кончу.

– Увидишь.

– Ничего не почувствую.

– Я уже чувствую, что ты чувствуешь.

– Это не я.

– Пусть будет он. Нам без разницы... – Приподнявшись, она утвердила и стала насаживаться. Глядя сверху орлицей – победительно и зорко.

– Как железный.

– Что толку...

– Не больно?

– Нет. Где этот стол?

– Какой?

– *Яств.*

– В ресторане на Белорусском.

– Оркестр?

– У-гу.

– Представляю себе.

– А не надо. Сосредоточься на...

Глаза ее закрылись, она выгнула горло. Машинально он стал ей подмахивать, ее груди откатывало. Ступней она раздвинула ему ноги и приподняла их так, что он увидел свои коленные чашечки. Ему захотелось заплакать. Он вырвал подушку из-под своей головы и отдался ей всерьез. Она вбивала в него свое лоно. Схватила под коленки и загнула ему ноги – *сделать тебе «салазки»?* Взрослые в детстве подвергали такой садической их ласки, вряд ли сознавая



ее происхождение от татаро-монгольского ига. Обеими руками он ухватился за матрас. Его е... С такой яростью, будто бросали вызов всему мужскому полу. Она стерла его так, что показалось, не он, а она заливает ему живот. «Я кончил», – подумал он. Изменил. *Никогда я тебя не увижу.*

Стиснув ему запястья, она всем телом втирала в него сперму.

– Видишь? – сказала она.

Он остался лежать, разбросавшись крестом.

Вернувшись, она натянула свой пояс и отстегнула чулки, чтобы надеть их снова. С осторожностью.

– Жаль, не было ремня.

– Зачем?

Она усмехнулась.

– Коронка супруга. Ноги мне связывает за головой. Думаешь, в армии ничего не умеют? Застегни мне...

Он застегнул.

– Я выход найду, не вставай. С бабками как у тебя – как всегда?

– А что?

– Сотня лишняя есть у меня.

– Он богатый?

– ГДР... что ты хочешь.

– Нет.

– Почему?

– Гусары, – ответил Александр, – не берут.

С хохотом чужая жена ушла из его жизни, оставив в отпущенном недоумении: неужели все это случилось с ними? Безумная любовь, на которую молился соком юной п..., которая ни цели, ни смысла не имела, кроме себя самой – пылать, пока пылалось, пока ничто не важно было, кроме чистого огня.

Который, выбрав все дотла, исчез внезапно.

Горизонта не было, когда в первый день нового года испепеленный Александр вылез на карниз своей Южной башни.

Не столько с целью покончить с собой, сколько от невозможности жить без любви.

В то утро мело так, что скалистая серость Центрального корпуса еле просматривалась, а вместо шпиля была просто белизна, едва тронутая изнутри отсветом сигнальных

огней. Четко обозначилась своей белизной только крыша внизу. Она была обнесена старомодной балюстрадой, занесенной снегом вместе с кабелями и прожекторами. Дальше в метели – двадцать вниз этажей – смутно угадывалось пространство.

Расплющив онемевшие руки, Александр стоял и чувствовал, как сгорают снежинки на лице. Видимая часть здания подавляла сознание грандиозностью – столь невозможной, будто все происходило где-то в ином измерении, нереальном, как Нью-Йорк, или просто он вылез в белый космос из плывущей куда-то компактной вселенной. Его переполнил восторг. Он увидел своими глазами, что закрылась не вся его жизнь, а лишь только частица, квадратик, окно бесконечного множества – в здании их 18 000. И он испытал жуткий страх, что именно сейчас он сорвется – сердце с карниза ледяного столкнет...

Когда он почувствовал за плечом пустоту, он сделал шаг назад, поймал ручку и закрылся стеклом.

Только внутри. Вселенной этой не покидать.

С изнанки секретера смотрела она – с которой в Москве они выжить не смогли. Перед Новым годом он посадил ее на поезд дальнего следования – прямо в небытие. Она замуж хотела, и чтобы родители купили однокомнатный кооператив с обстановкой – вот только кресла... с какой обивкой? Болотной или бордовой? Он хотел только ее – но без мира в придачу. Негнущимися пальцами он сорвал ее фото, оставив перед собой только путешественника на край ночи и солдата, который, глядя с вызовом, накрывал ладонями полушария Политической карты мира.

*Только внутри.*

Вместо того чтобы лежать вниз лицом под пальто, он стал спускаться в недра общежития.

По ночам оно было полно возможностей. Даже в пределах корпуса – девятнадцатизэтажной шахты под его башней. Там были концертные залы, коридоры, отсеки, диваны у телефонных пультов, забытые обшарпанные кресла, кухни, темные лестницы, лифты, кабины заброшенных телефонов для индивидуальной связи, столы с подшивками газет, которые не читал никто, но кто-то постоянно обновлял. Однажды он проходил мимо кухни, и ему мелькнуло что-то многообещающее – сине-красные полоски международной авиапочты. Совок мусоропровода прихлопнул поли-

этиленовый пакет, забитый любовной перепиской. Его письма из Америки, ее отсюда – неотправленные. Даже в эпистолярной форме этот роман был невозможен, и он у себя в комнате рыдал до рассвета над медленным убийством любви. Во всем этом был еще один аспект – возможный только в этом здании. За одну ночь, читая чужие письма, он узнал обоих с такой изнуряющей интимностью, будто они годами жили втроем. О ней он узнал все – включая и координаты в общежитии, по которым он мог в любой момент явиться и объявить себя ее братом. Или в акте милосердия убить. Но он не сделал даже попытки отыскать ее, чтобы сравнить с найденными в письмах фотоснимками. Он оставил анонимность этому отчаянию, следующей ночью спустив мешок в открытую дыру.

Однажды с лестницы он вышел в коридор и, повернув налево, увидел вдали причудливую фигуру – в поблескивающей накидке. Они сблизились настолько, что его пробрал озноб при виде оскаленных зубов вампира. Он заставил себя идти навстречу. Это была, конечно, только резиновая маска маде не у нас. Ужасное отверстие издало хохот, и за его спиной сказало что-то саркастическое – женским голосом и не по-русски. То ли карнавал у них какой-то был? Может быть, это и была Инес?

В другой раз хрипловатый голос попросил огня. Разогнувшись, фигура вывалила в поле зрения его сигареты мужской половой член. Школьные годы Александра прошли в провинции, где подобных уклонистов от генеральной линии били в общественных сортирах смертным боем. Но годы в МГУ его цивилизовали – по крайней мере настолько, что интеллект его не отключился. В поисках контакта персонаж разгуливал по этажам и сквознякам в одних брюках на голое тело, продумав систему прикуривания так, чтобы член, находящийся в полупугливом, полувозбужденном состоянии, под своей тяжестью выпадал сквозь заблаговременно расстегнутую ширинку, без лишних слов ставя сидящего в ночи перед выбором.

Весь напрягшись, он держал ладонь на облезлом молескине. Прикуривая, фигура убрала лицо – но Александр узнал. Ему неторопливо протянули коробок обратно.

– Спасибо, друг.

В порядке мести за визуальный шок? Черт дернул тень назвать по имени:

– Не за что, Святослав Иванович.

Член шлепнул о лавсановые брюки – так повернулся прочь инспектор его курса. И растворился в темноте.

На фоне обшарпанных простенков и приоткрытых дверей, из-за которых нагло подглядывали соседки, стояла беременная женщина.

– Не узнаешь?

– Алена... Что с тобой случилось?

– Можно войти?

Она была бледная и в пятнах. Когда она села, живот выкатился ей на колени. Она возложила на него ладони:

– Поздравляю.

– То есть?

– *Твой.*

Он попробовал улыбнуться.

– Смеяться нечего. Ты этого отец. Должен теперь жениться. Формально требую руки. Тем более ты этого хотел...

Он свел ладони и подался вперед.

– Что с тобой, Алена?

– Не женишься, пишу на факультет.

– И что тогда?

– Тебя отчислят. За моральное разложение. Затем забреют в армию, откуда можешь и не вернуться. А меня переведут на дневное с предоставлением отдельной комнаты в общежитии. Как матери-одиночке. У тебя есть что-нибудь попить?

– Вода.

– Только спусти как следует. – Она отпила и вернула ему стакан. – Вот так. Усек?

– А без этого не переведут?

Она мотнула головой. Она была с родины Ленина, но «Ульяновск» никогда не говорила:

– В *Симбирск* придется возвращаться.

– Это плохо?

– Как посмотреть. С одной стороны, дыра. С другой, ребенку будет лучше. Тем более, что газета предоставляет оплаченный отпуск, а мать уже давно простила. Можешь мне подогнать мотор?

Авансом он выдал частнику трешку и подогнал.

Помог спуститься.

Держась за дверцу, наклонился.

– Алена... Кто?

– Подумай на досуге.

Но он и так догадывался, кто ее послал.

– Нет – я имею в виду, отец?

Она завела глаза.

– Но, между прочим, ты мог бы тоже...

Ремень безопасности не доставал до застёжки, и она оставила его поперек живота. Он захлопнул дверцу, поднял руку. Машина выехала на улицу и оставила пыль над выбоинами асфальта.

Бабки у подъезда еще обсуждали инцидент, когда он вернулся из магазина с бутылкой. Они подло ухмыльнулись, и одна с фальшивым состраданием сказала в спину:

– Доигрался, голубок.

Однажды в детстве Александр потерялся в бамбуковом лесу, куда молодая его мама свернула по малой нужде, отправив его подальше, где он и пропал под штормовой ветер, который гнул вершины. Жуткий для русского мальчика лес вдруг оживших удочек, только гигантских – чудо-юдо ловить – обступал со всех сторон своей мертвенной, восковой желтизной, накрывая мир нездешним шумом, частым, острым и сухим, и это была уже не зона советских субтропиков на Кавказе, а один черт знает где, может, в Китае под гоминьдановцами, или в Индонезии, где вырезают коммунистов, он потерялся в мире, и ветер уносил его стыдливое «ау».

– Что с тобой?

Над ним наклонялся крепыш в подтяжках поверх рубашки с короткими рукавами. Это был хозяин квартиры. Он был немец, но из Казахстана. Восток боролся с Западом в его душе, то этот побеждал, то тот, а в общем малый неплохой, к тому же кандидат наук.

– З-знобит, – ответил Александр. – Подорвали мне иммунитет. Коммунисты.

– Скажи «а-а».

Александр открыл горло.

– Нашел время для простуды. Жаль. Я девочек привез. А то, может... Нет? Ну, лежи.

Оргия бушевала всю ночь, а на рассвете Александр проснулся оттого, что на него ссали. Он откатился к стене – по-

дальше от брызг. Хозяин квартиры стоял в проеме двери и, глядя в окно невидящими глазами, длинной струей орошал линолеум.

– Фридрих, – сказал Александр. – Это не сортир.

Хозяин прервал струю.

Потом очнулся и вскричал:

– Прости!

Когда очнулся Александр, в квартире было тихо, в сквозняке из гостиной ощущалась убранный, на стуле рядом с ним лежали яблоки с опытного участка хозяина, а к спинке была приколотая записка, что витамины от слова «Жизнь», а о квартплате чтобы не беспокоился: когда сможет, тогда пусть и отдаст...

Потом из бреда возник Альберт, он был уже в штатском, смотрел с состраданием.

– Общетинился, в халате... Тоскует, друг. Затоплю камин, буду пить. Хорошо бы собаку купить.

– Хорошо бы.

– Сейчас будет. Ложись...

Александр даже глаза закрыл, ожидая, как в детстве, и дождался: его обнюхивала с высоты своего роста черная собака, как из кошмара.

– Русская борзая, – сказал Альберт, а девушка в белых джинсах и с прямыми, как у американки, льняными волосами добавила:

– Милорду пять месяцев. Предки на сессии ООН, бабушка в больнице, а нам в Латинскую Америку через неделю... Вот тут вареное мясо, кости, – опускала на пол пластиковый мешок из «Березки». – На первое время. А дальше вы его прокормите?

– Сам подохну, – обещал Александр, держа собаку за высоченные лапы.

– Спасибо вам, вы добрый человек.

– Спасибо вам...

– Друг, ты понял?

– Понял.

– Нет, ты ничего не понял. Дашенька, спускайся, а то таксист волнуется... Друг, ты меня слышишь? Я ведь убываю. Друг?

– Я понимаю. Поздравляю. Пылающий континент...

– И не на год.

– Нет?

– Неразложимое ядро! Помнишь, я обещал тебе, что *вылезу*? Но только, раз уж мир поймал, так надо было влезть ему не только в брюхо, надо перевариться было и в самые кишки... Прости меня. За Инес, за все... Черт, как ужасно, что ты болен, что счетчик щелкает... Вестей не жди. Пластическая операция, новое айденити. Я буду до конца стоять. Ты понимаешь? За нашу юность, за свободу, за дело Запада. После победы встретимся. Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве. Какой ты колючий... Поправляйся. Не забывай. Его зовут Милорд.

Лицо ему лизали горячим языком. Над ним стояла собака. Он встал, оделся. Взял Милорда и спустился с ним во двор. Матери схватили своих детей и отбежали, а бабки закричали:

–Черный черт!

По ночам Милорд глодал кость. Он гремел ей по всей квартире, вызывая удары по трубам. Александр отнимал. Милорд принимался скулить на весь дом, который в ответ стучал так, что отдавалось в голове. «Тихо, – говорил Александр, лежа с ним в обнимку на матрасе и пытаюсь укачать, как сына. – Тихо, м... Убьют ведь...»

Днем пришла делегация. Он не пустил, они бились в дверь, дергая цепочку.

– Сам без права живешь, еще и собаку завел.

– Того и гляди, детей наших разорвет.

– Заявить в милицию.

Когда женщины откричались, мужской голос спокойно сказал, что если дом не будет избавлен от скотины, то он самлично спустит с него шкуру – с живого.

– Ничего тут не могу, – развел руками уполномоченный, несмотря на сына в кремлевском гараже. – За топоры готовы взяться.

Александр стал выводить борзую по ночам.

Под звездами Милорд уводил его далеко в поля – мало что соображающего и ослабевшего так, что иногда он падал в темноту от резких рывков.

Бутылка сухого кубинского рома все еще стояла нераскупоренной, когда в один невыносимо солнечный день он открыл окно на похоронный марш Шопена и застонал, уви-

дев, что на торжественные эти похороны смотрят дети с портфелями. Сентябрь! Новый учебный год...

Он упал на матрас.

Но на следующее утро сбрил двухнедельную бороду и вышел в мир с портфелем.

На Ленинских горах его охватил приступ агорафобии. Это вот что такое. Это чувство абсурда. Чувство ничтожной невесомости. Чувство, что вот сейчас тебя подхватит и унесет, как эти обгорелые листья, скребущие по асфальту.

Он вошел на учебную территорию, но едва не повернул обратно, увидев блистающе-белую многоэтажную коробку. Факультет на девятом этаже. Двери разъехались, он столкнулся с Ивановым.

– Привет.

Не отвечая, Иванов положил ему руку на плечо и держал, пока не стало ясно, что лифт сейчас набьется до отказа. «Друг, я предупреждал», – сказал Иванов уже из кабины.

Информационные доски закрывала возбужденная толпа.

Пробившись, Александр увидел приказ. Знаки препинания пробивали папиросную бумагу, приклепленную к доске.

На лестничной площадке он стрельнул сигарету. С ним пару раз заговаривали, он не отвечал. Потом он вернулся в коридор, поравнялся с дверью инспекторской.

Святослав Иванович сделал вид, что не заметил. Александр подошел к столу вплотную. Сунув палец в иностранную книжку, инспектор прикрыл ее и поднял голову:

– Вы думали, научный коммунизм, это вам – так? Сами виноваты. Надо было в срок явиться на пересдачу.

– Меня же в армию заберут.

– Что ж. Каждый мужчина должен через это пройти. Это всего два года, если в ВМФ не попадете. Выполняйте священный долг, а там, глядишь, и восстановим. Как друга вашего.

Лицо было непроницаемо. При этом, как ни странно, инспектор читал в оригинале Пазолини.

– До свидания, Александр.

– Чао...

В коридоре мертвенно жужжал люминисцентный свет.



Он спустился на лифте, широкой лестницей к раздевалкам и пошел на свет выхода. Очнулся он от плоского удара в лицо. Сплошное стекло, вымытое к началу занятий так, что от двери не отличить, отделилось от алюминиевой рамы и грохнуло об асфальт. Он переступил наружу. Вслед ему из здания кричали, но шагов он не ускорил. Потом под ним перестало хрустеть.

Вплоть до решетчатых ворот дорожка была пуста, за исключением одной девушки. На студентку она была непохожа. Голые ноги без чулок и в одной футболке: под которой качались груди. Как поросята. Несмотря на отсутствие портфеля и общую уместность где-нибудь на свиноферме, она вышагивала деловито. Тумба – думал он с нарастающей неприязнью, пока вдруг не опознал свой первый эмгэушный минет, взятый у него с такой непринужденностью, как выпить стакан воды – тот самый, возмущавший Ленина. Утрата невинности в том смысле имела место в год, когда он поступил, а она провалилась в третий раз, с тех пор, возможно, превратившись в вечную абитуриентку – соискательницу высшего. Эти годы ее совсем не изменили. Он стал сбавлять темп, но она целеустремленно смотрела в одну ей видимую точку. Он приоткрыл рот, чтобы окликнуть ее по имени, возникшем в памяти, но девушка уже прошла.

Высотное здание МГУ – оно отсюда в правый профиль – медленно, но верно поднималось в небо, где сверкало своим шпилем до боли.

Альма матер.

Внезапно превратившаяся в мачеху.

Контроль на проходной он прошел беспрепятственно. Студенческий билет еще действовал, но внутри, в толпе, он почувствовал себя пасынком. Регистратор его эмоций, постоянно сидящий где-то за пультом в глубине сознания, с удивлением отметил взрывную силу чувств. Оказалось, все, что ненавидел, и не когда-нибудь, а еще этим утром, он на самом деле любил до дрожи. Обнять колонну и завывать.

Огибая зону «А», он так и сделал. Беззвучно.

На почте ему выбросили письмо от бабушки. Его он заложил на когда-нибудь потом, только вынул из конверта червонец.

На протяжении нескольких этажей в лифте ему досаждал чей-то сочувственный взгляд.

На переходе в башню он, как из самолета, вчуже восхитился сиянием города под крылом.

Комната встретила абсурдным шелестом бамбукового леса. Человек, вынимая кисточку из туши, во гневе оглянулся:

– Дверь закройте!

Все стены, все поверхности, включая его изнанку секретера, были залеплены иероглифами – по одному на листке, приклеенном за отсутствием «скоча» хлебным мякишем. И человек был не китаец, а персонаж, известный не только в общезнании, но и когда-то во всем Союзе. Еще в школе Александр узнал из газет о шахтере с Донбасса, который решил изучить все в мире языки.

– А, это ты... – Отложив кисточку, бывший шахтер встал и поджал свою здоровую ногу. (Одновременно с поглощением языков он наращивал мышцы на своей усохшей от полиомиелита.) – Теперь меня произвели в небожители.

Наблюдая, как Александр собирает вещи, полиглот расставил руки, вытянул здоровую ногу в рваном носке и стал совершать приседания. Собирать в общем было нечего. Ящики стола пусты. Освободив место еще для двух иероглифов, Александр снял с фанеры портрет Селина и снимок с Альбертом на фоне Политической карты мира. Селина он сложил и спрятал во внутренний карман пиджака. Снимок тоже решил не рвать.

Полиглот приседал и поднимался. В ауре солнечной пыли он выглядел нелепо, как подросток.

– Могучий ты мужик, Толян. – Александр кивнул на иероглифы. – Какой уже по счету?

– Язычок-то? Дай Бог памяти, – поскреб в затылке полиглот.

– За сто перевалил?

– За сто? Не-е. Только приближаюсь.

– А на х... тебе все это?

– Как «на х...»?

– Ну, сверхзадача... Что это, способ путешествовать?

Толян заухмылялся. Сел, обмакнул кисточку и стал ласкать о горлышко. Кроме баночки с тушью перед ним стояла бутылка из-под кефира с водопроводной водой и оборванная буханка черного хлеба.

– Шире бери.

– Ну?

– Бери выше, а вернее, глубже.

– Темнишь? – Александр толкнул коленом свой портфель. – Раскальвайся, небожитель. Я за бортом уже никому не скажу.

– Мудрец, – сказал Толян, – познает мир, не выходя со двора. А теперь думай сам...

Он прикусил язык и стал выписывать иероглиф. Дверь лифта уже закрывалась, когда он выскочил следом с бумажкой. Александр заблокировал ногой.

– Тебе! Я расписался.

– Спасибо...

Но это был не иероглиф истины.

В пальцах подрагивала повестка, которая извещала, что отсрочка от военной службы кончилась и «гр-н Андерс» должен явиться в военкомат по адресу...

«При себе иметь военный билет».

По пути вниз он последний раз в жизни задержался на крыше гуманитарного корпуса. Видно было до самого Кремля, но его снова поразила смена чувств: все, что «гр-н Андерс» только что любил, он ненавидел всей душой...

Этот простор – безвыходный и безоглядный.

Он разорвал повестку, выставил руку за балюстраду и отпустил клочки на ветер.

Милорд клацал изнутри и лаял. Потом рвал плечи, стреляя в лицо языком. Сбегал за каким-то комком и стал жевать.

– Что ты там нашел?

Александр вынул из портфеля триста грамм вареной колбасы, ободрал с нее целлофан и дал собаке взамен парижских слипов.

Когда-то ему их забивали в глотку.

Черное кружево было измочалено так, что ничего, кроме вкуса собачьей слюны, он не почувствовал.

Глядя с недоверием, Милорд гавкнул.

Опомнившись, Александр утер свои слезы, но трусы собаке не вернул. Чемоданы с бирками *Air France* стояли в спальне. Он откинул крышку верхнего и бросил их туда. И закружил по квартире, собирая инородные вещи. Он укладывал их с бессмысленной аккуратностью. Закрыл, надавил коленом и вынес чемодан в прихожую. Когда открыл второй, в шелковых складках кармана что-то звякнуло.

Ключи.

На колечке и с картонной биркой, размявшейся так, что он с трудом сумел восстановить адрес.

– Сиди тихо, – дал он наказ борзой.

И отправился в Москву на поиски улицы Коминтерна...

Из метро его вынесло под дворцовые своды станции, украшенной старинными, еще сталинскими панно с сюжетами на военно-патриотические темы.

Это был рабочий район.

Александр скользнул мимо ярко освещенной проходной завода, мимо Доски почета, где ударницам были пририсованы усы, х... и папиросы, и сник в тени стены, защищенной сверху колючей проволокой. Параллельно посреди улицы тянулся бульвар. Переносной магнитофон хрипел откуда из кустов голосом раннего Высоцкого:

Она ж хрипит, она же грязная,  
и глаз подбит, и ноги разные,  
всегда одета, как уборщица...

Темно, но далеко не ночь – самое время нарваться на фингал, любовно выточенный в цехах за этой стеной...

*А мне плевать: мне очень хочется!*

Вот именно, Володя...

Улица Коминтерна была за углом.

Окно на первом этаже упорно не гасло. За ним бугай в майке линялой, пролетарской голубизны заканчивал клетку для птиц. Плоскогубцами он подвинчивал концы проволоки. При этом он то и дело перекуривал или, запрокидываясь, пил из эмалированного бидона на три литра.

В беседке посреди двора Александр сидел затемнившись, как для ночного боя: воротник поднят, лацканы пиджака закрывают рубашку, волосы на лоб, голова опущена. Но мусора не отдыхают. К тому же, еще видят, суки, в темноте.

– А ну встал.

Козырьки фуражек поблескивали. Он не услышал, как они подошли по земле.

– Руки из карманов.

Он вынул.

– Подошел... Дыхни?

Во рту было гнусно от перегара возбуждения. Но делать нечего, дыхнул. Мусор и носом не повел, в отличие от Александра он был под дозой. Вот такие и вбивали его в землю – в двенадцать лет. Учили «родину любить».

Второй проявил вялый интерес:

– Бухой?

– Да вроде нет... Кого высиживаешь?

– Одну тут... – и он добавил: – *товарищ сержант*. Обещалась выйти.

– Как звать, не Любка?

На всякий случай Александр мотнул головой двузначно.

– Если Любка, так она из диспансера только.

– Нет-нет. Другая.

– Смотри, поймаешь на конец.

Они удалились, ухмыляясь и пошлепывая по ладоням набалдашниками дубинок.

Свет в окне тем временем погас.

Дверь была на площадке слева. Второй ключ подошел. Квартира дохнула по-пролетарски. Закрываясь изнутри, он боялся, что палец соскользнет со спуска.

Третья по счету комната была необитаема.

Дверь скрипнула, а ключ он удалил бесшумно.

Изнутри он заперся.

Пыльно мерцали половицы. Окна были голые – листва за ними, как вырезана из жести. В углу столик с трехстворчатым зеркалом. Отражаясь в нем, свет фонаря слепил. Венский стул. Больше мебели не было, если не считать шторы, которая, как в театре, отгораживала задник комнаты. Оттуда доносился странный звук – словно забыли выключить транзистор.

В коридоре зашлепала тяжесть. Оставив дверь сортира открытой, бугай матерился, отливая с трудом. Ушел он, сорвав бачок, – и Александр поздравил себя с акустической завесой.

Кольца шторы лязгнули, сбиваясь.

За ней лежал матрас. Бормотанье шло из-под него. Александр опустил на колени. Отвернув толстый угол, он обнаружил толстую тетрадь. Под ней открылась венти-

ляционная дыра, которая уже не бормотала, а выразилась ясно:

«Х..., ребята? Идем на банк».

«У-уу, – загудели голоса. – Ну, Петя, пан или пропал...»

Щелкнула карта:

«За туза на все. Ложи!»

В подполье резались в очко, но судьба банка осталась неизвестной. Потому что из коридора в дверь стукнули:

– *Инесса?*

Он замер.

– Ты что ль, Ангел? – Вдруг он взорвался и перешел на крик. – Кто там? С Лубянки, что ль? Отвечайте инвалиду коммунистического соревнования. Не то сейчас зарублю и отвечать не буду. Слышь, суки? Справка у меня! Затмения системы!..

Сосед ударился об дверь.

Схватив тетрадь, Александр прыгнул к окну. Шпингалеты заедали, но кожи на пальцах он не жалел.

Инвалид ударил топором. Он промахнулся и с матом выдернул лезвие из косяка. Со второго раза дверь отлетела.

Топор сверкнул.

– Убью-ю...

Вспыхнувшие окна осветили кусты. Ударом плеча Александр высадил стекло и прыгнул через эти кусты. Он приземлился в клумбе и разогнулся, как пружина.

Топор вонзился в землю как раз за ним.

– Держи вору!ю!

Охваченный горячкой, пролетарский район палил из ружья.

В эпицентре охоты за собой любимым Александр, прижимая к животу похищенную тетрадь, пробирался во тьме – полной, пыльной и дурнопахнущей. Это была вонь из подвалов детства – то кисло-капустной, то картофельной гнили. На поворотах он касался то занозистых досок, то кирпичных стен с колючими выворотами бетонного раствора. Потом его ударило под колено. Он чиркнул спичкой и удивился. К стене, которая перекрывала ему путь, было приставлено старинное кресло. Ободранное, рваное, но вполне музейное. Могло бы украсить в Зимнем дворце экспозицию, посвященную классическому веку родной литературы. Вольтерьянское. Как оно сюда попа-

ло? Из какого разграбленного предками жильцов «дворянского гнезда»?

Александр сел.

Кресло выдержало.

Он вынул коробок и зажег спичку.

Эту тетрадь он уже видел в руках у Инес. Она была на спирали, старая и в морщинах. На малиново-красной обложке здание на бульваре Сен-Мишель, где тетрадь была когда-то куплена. Он открыл и задохнулся. Французский почерк Инес был такой же простодушный. При всей своей невероятной сложности человек этот был однозначен по библейски. *Да – да, нет – нет...* Охваченный невероятным возбуждением, он стал перелистывать находку.

Пальцы обожгло.

Черно стало, как в могиле.

Под напором эмоций он всхлипнул. Прижал тетрадь подбородком к груди, вытянул ноги и расстегнулся с усилием. Разогнувшись, кровь загудела, как телефонный столб. Чувство узнавания свело пальцы. Возник, отнял дыхание и сразу же под веками стал таять нездешний образ. Прищелкивая, он пытался удержать, за этой Дульсинеей наявивая в виде вдруг кабана, взлетающего с рыком...

Удар в лицо.

Вместе со слезами по скуле Александра оплывала сперма – горячая, как воск. Вкус был морской, а пахло, как после апрельского дождя в лесу – чем-то очень живым.

Он засмеялся.

Обтер руку о подлокотник и от последней спички прикурил обломок сигареты. Хватило на три затяжки. Осветив затоптанную пыль, огонек погас. Александр обнял тетрадь и впервые за время отсутствия Инес провалился в такой глубокий сон, что когда пришла пора проснуться, не сразу понял – куда же это, к черту, занесло?

***Journal intime***\* лежал перед ним, как разбитое зеркало.

Между французско-русским словарем под редакцией Ганиной и пишущей машинкой.

Устроился он на кухне. Из-за занавески просматривались подступы к дому. В мгновенную реакцию гигантской

---

\* Дневник (фр.)

военной машины, не досчитавшейся одного призывника, не очень верилось, но береженого Бог бережет: если с дороги вдруг свернет защитного цвета помесь «газика» с БТР, у него будет время если не слинять по крыше (ход предусмотрительно открыт), то выброситься из окна.

С другой стороны, газовая плита за спиной позволяла не отвлекаться на хождения за чаем.

Дневник был пестр и анархичен.

Среди поспешных записей имели место попытки автобиографического романа, но писалось все это где, как и чем попало – даже карандашом. Так, где стерлось, он обводил по букве, по слову, а затем, заглядывая в словарь, на заедающей машинке перепечатывал страницу за страницей, кусок за куском собирая образ, в который сам не верил: неужели это и была его Дульсинея? Бог знает, каким образом зачатая в церебральном холоде глобальных коммунистических страстей большеглазая девочка с незаживающей звездой сигаретного ожога на лбу.

«Как и всегда, собирались второпях, и я успела взять с собой только тетрадь, когда-то брошенную в Москве на полуслове. Других развлечений нет: продолжим...

Мы в румынском санатории – Он и я. Черный «мерседес» отвозит нас на грязи. Из Бухареста туда же прилетает супруга *Дракулеску*.

На вертолете.

Это дворец в огромном саду. Кроме персонала и врачей (все говорят по-французски, но курят «Кент»), мы были с ним одни – пока не привезли двух индонезийцев. Они говорят только по-английски, меня попросили переводить на приеме. У обоих тропические болезни. Один синий, причем буквально: ладони, губы, лицо. Другой с виду нормальный, но в крови черви. Болезнь отнюдь не символическая, называется *палюдизм*. В знак благодарности они мне показали портрет Сукарно в феске – вырезку из газеты, хранимую в бумажнике. Они очень за своего Сукарно. Почему? Потому что служащим Сукарно (тоже, кстати, друг отца) выдает полтора килограмма риса в месяц.

Когда я наталкиваюсь в саду на эту пару, приходится делать усилие, чтобы не отшатнуться.

Фильм ужасов.

Потолок в комнате такой высокий, что он не чувствует



запаха сигареты, выкуренной исподтишка. У него свои раз-  
влечения. Он собирает сливы и приносит: «Мой и ешь».

Сливы гниют в мраморном умывальнике.

«Не будешь есть, умрешь».

Румыны проверили, все у меня в порядке.

А есть не могу. Только кофе.

За это мне вкалывают что-то гнусное – по-социалисти-  
чески толстыми иглами.

Жара, сонливость. Когда я просыпаюсь на закате и ви-  
жу перед собой соцреализм в огромной золоченой раме,  
жить мне не хочется.

Эффект страны, навязанной на лето?

Надеюсь...

Роман? Но кто поверит в героиню, в одну возможность  
этой человеческой аномалии? Я первая не верю. Прошлым  
летом в Крыму мне проходу не давал космический кре-  
тин – любимец их генсека. Он крал лифчики у персонала,  
обслуживающего душ Шарко, напяливал на лысину и с го-  
готом носился под магнолиями – волосатый, как горилла.  
Однажды отвесил мне советский комплимент: «Инес, ты не  
серийного производства. Ты – *товар штучный*».

В том и отчаяние, товарищ космонавт.

*Эсперанс* – или имя слишком патетично? – родилась в  
Париже, но заговорила сначала по-испански. Во время из-  
гнания на Восток приобрела не только польский, но еще и  
русский. В советской средней школе № 1 при посольстве  
СССР в Польше, которая «за отличные успехи и примерное  
поведение» наградила ее похвальной грамотой, где в левом  
углу Ленин, а в правом Сталин. Вернувшись во Францию,  
она не забыла эти языки. На плечах – как клетка с попуга-  
ями, у любого другого такая голова взорвалась бы изнутри,  
но она гордо несла ее вперед. Во время сеанса профессио-  
нальной ориентации перед окончанием лица ей намекну-  
ли на возможность карьеры в разведке. *Шпионкой?*

От этого варианта судьбы она отказалась с возмуще-  
нием.

Больше попыток эксплуатации ее талантов никто не  
предпринял.

Она осталась наедине с этим проклятьем – всех пони-  
мать.

Кроме самой себя.

В этих мирах, друг другу противостоящих, она чувствовала себя вполне уверенно – не принадлежа при этом ни тому и ни другому. В каждом из миров ей не хватало другого, о существовании которого она знала не из газет или передач западного радио. *Ce ne pas beau\**, осторожно говорила она. Ей строго отвечали: «Это – страна будущего». *Douce France: cher pays de mon enfance\*\**, подпевала она граммофону, заведенному ветераном первой мировой, дедом подруги, пригласившей ее на зимние каникулы в *Indre et Loire* – не забывая при этом, что вокруг страна капитализма, осужденного Историей. Ощущение превосходства переходило в чувство неполноценности – и наоборот. Сверстники произрастали в соответствии с политической картой мира. Каждый – своего цвета. Внутри ее цвета смешались, как на картинах, порицаемых в СССР.

Продукт посткоминтерновской эпохи, побочное дитя того типа космополитизма для бедных, который назывался «пролетарским интернационализмом», она мучалась завистью к сверстникам, принадлежавшим этим мирам – тому или другому. Кто там ли, здесь ли, но был своим.

Одноязыким. Одноклеточным...

*Эсперанс*. Этюд повышенной сложности, сыгранный в сумерках коммунизма. Интегральное исчисление. Чистая абстракция, но с текущей, словно персик...

Не дай себя сожрать. Кровь жизни выпить.

Завтра, кстати, нас везут в Трансильванию.

В замок графа Дракулы.

Один из самых красивых замков, которые я в жизни видела. Я преувеличила восторг, чтобы вызвать у него реакцию:

– Неужели ты хотела бы здесь жить?

– И еще как.

– В качестве Дракулы?

– Жертвы.

Он потемнел:

– Никогда я тебя не понимал...

---

\* Некрасиво (фр.)

\*\* Нежная Франция, милая страна моего детства (фр.)

И отвернулся к супружеской паре самодовольных хозяев замка и всей этой страны – прекрасной и несчастной.

С очередным комплиментом...»

Извещая, что уже ночь, соседи стучали по трубе.

Александр выходил с собакой.

Под зябким звездным небом за зоной отдыха расстилались до горизонта совхозные поля. Он возвращался не с пустыми руками. То надергивал сахарной свеклы, которую в вареном виде Милорд перекачивал, пятная линолеум, по всей квартире. То тыкву приносил, в оранжевой желтизне которой было нечто древнекитайское, буддистское и даже всецело потустороннее. Созерцая тыкву в свете голой лампочки, он вчуже удивлялся своему спокойствию. Потому что в этой глухоте, звенящей в ушах, ничто не предвещало возвращения Инес. Но чем плотнее сдвигалось зеркало ее жизни, тем увереннее ему становилось, что она непременно материализуется. И даже от этого опережающего знания ему становилось тошно, как от перекура: будто это не кремлевские хозяева держали натянутую паутину того, что громоздко именуется в газетах «международным коммунистическим движением» – нет, то было бы элементарно. Главный паук был именно он – Александр. Угнездившийся в эпицентре в ожидании неминуемой жертвы. Потому что за парой огромных глаз и на-все-наплевательским видом таилось самое неуверенное в этом мире существо.

Он не удивился, но непроизвольно замер на вдохе, когда в поле зрения стала влезать бумажка.

Однажды утром. В щель входной двери.

Он поймал ее в полете.

Это был вызов. Не в военкомат, не в КГБ – на Центральный телеграф СССР. В двенадцать ночи. Для переговоров с тем, что рука служащей обозначила, как *Фобос* – но, возможно, он уже поехал?

Он вышел на свет.

Именно Фобос. Спутник чего-то очень-очень дальнего, как помнится из астрономии...

Планеты *Ужас*?

Воротник пиджачка был поднят. Он опускал глаза, когда они проходили, но в третий раз не выдержал и улыбнулся.

– Кого ожидаем?

– Разговора.

– А вызов есть?

Он вынул:

– *Фобос*, где это может быть?

– Чего... – Вернув бумажку, милиционер пожал плечами. – На Грецию похоже, нет?

Он кивнул:

– На Древнюю. На мифы о б-богах и героях.

Патруль отошел, оглядываясь на него, подпирающего барьер среди проституток, грузин, фарцы. То и дело налегал озноб. Сжимая облупленное железо, он смотрел на башенный вход с аббревиатурой «СССР» над выпирающим синим глобусом.

Под ними светились часы.

– *Фобос*? – Телефонистка открыла толстый справочник. – Нет такого. Наверное, ошибка. Есть *Форос*.

– Где это?

– Крым.

Он сел и свесил руки, успокоившись так, что до него не сразу дошло, что этот *Форос* уже в седьмой кабине.

*Говорите*, велели ему в ухо.

Он разорвал губы:

– *Инес*?

Треск, разряды. Как из космоса донесся голос: «Мы возвращаемся». – «*Куда?*» – «Еще не знаю, но через Москву. Ты будешь?» – «Если не заберут». – «*Что?*» – «*Буду*». – «У тебя ничего не изменилось?» – «Нет». – «Я сделала все, что могла и даже больше. Ты слышишь?» – «Еле-еле». – «Здесь жуткая гроза». – «Понимаю, – кивнул он. – *Зевс...*» – «*Что?*» – «*Зевс-громовержец!*» – Она не засмеялась: «Нет. *Уже* нет... В буквальном смысле». – «Как та?» – «Какая? Нет. Осенний шторм. Но сначала он был в ярости. В лицо им бросил...» – «*Что?*» – «*Досье. Ему к приезду приготовили*». – «*Кто?*» – «*Представляешь? На тебя, на нас...*» – «Я понимаю. *Кто?*»

Линия прервалась.

Он вывалился с трубкой и ждал, пока телефонистка не закатила мутные глаза.

Тротуар лоснился.

Моросило.

Наружное наблюдение называется у них НН. Друг говорил. А исполнитель – *Николай Николаевич*. Как в классиче-

ском романе. Николаев Николаичей в поле зрения не было, но, с другой стороны, *невидимый* ведь фронт...

Он спустился.

Указательный палец отгибала вешалка закинутого за спину пиджака. Огибая встречных, он спешил вниз к метро «Проспект Маркса».

Вдруг он запнулся.

В пальцах дрожала ментоловая сигарета. *Salem* – стрельнул у сердобольной «ласточки» в лаковых сапогах-чулках.

*Отравили?*

Хорошо – соседи на работе. Ё... борзая так атаковала дверь, что он сначала открыл, потом опомнился...

Штатский.

Даже при галстукe – из тех, что на резинке. При этом с локтя снимается корзина:

– Велено доставить.

Хрустнув Александру под босые ноги, курьер сделал вид, что не заметил бестактного рубля...

Корзина была тяжелая.

Борзая распласталась на кухне, бия хвостом. Лукошко, но плетеное из лакированных прутьев и под безукоризненной салфеткой с бахромой! Под которой натюрморт из сталинской «Книги о вкусной и здоровой пище» – в детстве на нее пускались слюни. Яблоки в папиросной бумаге. Он развинтил эти заботливые жгутики, понюхал сам и дал Милорду, который схватил яблоко и, многоступенчато поднявшись, удалился. Грозди «дамских пальчиков» обвиняли бутылку под неожиданным названием *Черный доктор*.

Под ней – конвертик.

«Обосрешься...» – задумчиво ответил он Милорду, вбегавшему за следующим яблоком. Перед ним был лист бумаги с изображением в миниатюре знакомой гостиницы без вывески:

*Я ОСТАЮСЬ.*

*Перед отъездом тебя*

*хотят обнять. «Как сына».*

*Осторожно...*

Эдем в лукошке.

От ароматов затошнило. Голова кружилась. *Неужели на самом деле? Ядом замедленного действия?* Он отыскал хозяйский градусник, вернулся и обнял себя крепко – так, что исхудалость трицепсов вызвала жалость. Температура была нормальной, но, стряхивая, он еле удержался за сиденье. Градусник разбился об стену, выпустив целую армию блистающих шариков, которые он вкатывал по одному в конвертик – пока не взмок. Он отодвинул все – словарь, машинку, тетрадь с бульвара Сен-Мишель. Откупорил бутылку и до краев наполнил граненый свой стакан вином, не только черным, но и с каким-то декадентским отливом:

– Давай. Лечи...

Края бегущих облаков пылали, когда он открыл глаза и увидел, как слева в поле зрения въезжает черная машина, которая, отсвечивая на закате крышей и хромом, подплывала по этим рытвинам, как на воздушной подушке. Идущие с работы люди столбенели, поворачиваясь вслед. На заднем окне отдернули занавеску. Из-за стекла смеялась африканка, смуглая и молодая, за ней просматривался кто-то седовласый – будто в нимбе.

Александр вскочил.

Отблевавшись, он отнял полотенце и спросил у смертельно бледного пацана, глаза которого из зеркала горели любопытством:

– Куда же ты попал?

Борзая уже скулила перед дверью – на голоса, говорящие не по-русски.

## **ЛЕД или НАСИЛИЕ В ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Однажды бледный советский мальчик, кончив, уткнулся ей в подмышку, а потолок по-прежнему подрагивал от босых прыжков, и раз, и два, сходящихся и расходящихся – там, над ними, пользуясь отсутствием матери-садистки, девочка нахластывала по линолеуму скакалкой: *и раз, и два, и раз, и два, и раз...*

Инес лежала, закинув руки.

Он снял свой вес и отвалился, при этом скользко себя шлепнув.

– А если ребенок?  
– То лучше девочка.  
– Почему не сын?  
– Сыном был я, – ответил Александр. – Врагу не пожелаю.

– Проблемы с мамой?  
– Не только. Со страной. Где всему полу моему не повезло.

– В этом, по-моему, равноправие.  
– Рабынь они хотя бы под ружье не призывают. К тому же льготы по беременности. Мужчина больше раб.

Безмятежность ее возмутила:

– Ты – *раб*?

– И даже хуже. Гнусен раб, о состоянии своем не подозревающий, но раб, осознавший свое рабство и освободиться не пытающийся, гнусен вдвойне.

– Кто это?

– Первоисточники... То ли Маркс, то ли Ленин. Оба правы. В моем отдельно взятом случае.

– А почему ты не пытаешься?

Рука его взялась за неотхлынувшую кровь.

– А это?

– Я серьезно.

– Какие шутки. Женщину зачал. Родил ее на свободе. И это будет мой личный вклад. В борьбу за освобождение человечества.

*И раз, и два, и раз...*

– Большого ты от себя не ждешь?

Ухмыльнувшись, он болтнул своим мужским половым органом:

– Если я что-нибудь и представляю, то только в этом смысле. В социальном – полный нуль. На грани перехода – алгебру помнишь? – в отрицательные величины...

Вот с кем она осталась.

За дверью гостиной, запертой на полотенце, вздыхала русская борзая, от прыжков через скакалку дрожали стекла в хозяйском серванте, а когда за угол свернул автобус, у Инес возникло четкое ощущение – карточный домик. Ничего более серьезного здесь не построить. Не надо и пытаться. Выбросить все заботы. Начиная с аспирантуры, которую ей придумали в Институте мировой литературы, чтобы продлить на два года визу. Забудь, сказал он. Я за ме-

сяц напишу. Да, но о чем? Он объехал книжные магазины Москвы и вернулся с целой сумкой уцененных эмигрантских романов, переводимых с испанского во имя «пролетарского интернационализма» – в поддержку борьбы с франкизмом. Никто их здесь не открывал, кроме Александра, который сформулировал тему ее ученой диссертации: «Насилие в испанской литературе». Ей было наплевать. Жить, заниматься любовью. На грани распада. Пока он не рухнул, этот карточный домик на отшибе от Европы, где островок гуманизма превратился в смутное воспоминание.

*И раз, и два, и раз, и два...* прыгала невидимка через скакалку, которой ее будут бить.

На этот раз язык не повернулся предположить: «Агент».

Выложив досье на ее советского избранника, они сами выбрали главный аргумент.

Капитулируя тогда в Крыму, отец сказал:

– В конце концов, ты у меня жила не только во дворцах, в бараках тоже. Время консервов хочешь повторить? «Красный пояс», тараканов Сен-Сен-Дени? Психолог бы сказал – *регрессия*. Но я политик, а ты человек уже взрослый. Делай свою игру. Только помни... *Survivre*.<sup>\*</sup> Это главное. Обещай, что выживешь.

Не Советский бы Союз – вряд ли они выжили при коммунизме.

Это было бы невозможно в ГДР. Или на Кубе. Не говоря о Китае. Только в России.

Где Система в ее национальном варианте постоянно проявляла дисфункции, столь раздражавшие рациональных «младших братьев» из европейских партий. Система в России просто плохо работала. Ее сбои породили целый вер советских неологизмов: «головотяпство», «ротозейство», «халатность» – чистых проявлений человечности. Благодаря этому все у них и длилось. Любовь. В ее советском варианте, где безысходность повышает сексуальную неистощимость. «Шпанских мушек» там не надо. Главный советский афродизиак – когда без вариантов.

Без – или почти...

Осенний призыв в армию прошел, а он остался на свободе – как минимум, до весны. Исключенный из университе-

---

\* Выжить (фр.)



та, он не явился, чтобы, как положено, ликвидировать свою временную, до конца учебы, московскую прописку в паспортном столе отделения милиции Дома студента МГУ, а этот, со своей стороны, разыскивать муравья в мегалополисе не стал. В результате, когда к ним в Спутник нагрянула облава, которая перед круглой Годовщиной Октября проверяла Москву на благонадежность, Александр проскользнул сквозь сеть: он жил, хотя и не в законном браке, но на легальных основаниях.

Милиция откозыряла.

«Прописка» – «временная», «постоянная». В этих материях, которые представлялись ей чистой абстракцией, Инес разобралась только тогда, когда он стал искать работу, являясь к вечеру заляпанным грязью и промокшим:

– Сорвалось...

И воспитателем в рабочем общежитии, и в типографии, и книги продавать в метро с лотка... Но почему? Прописка же ведь есть. Да, но «временная». А с «временной» работать здесь нельзя. Ты же работал? Какое... дырку затыкал. Нет, мон амур. Обозначалось, что только жить и можно. Хотя и «временно», это уже немало. Но вот вопрос: на что?

По ночам на кухне он писал рассказ – в надежде «потрясти всю мыслящую Россию», и заработать заодно, по крайней мере, на три дальнейших месяца. Но нужно было обеспечить эти ночи хотя бы куревом и кофе. Отложив очередной рисунок, образ подсознания, на котором нагая красавица в монашеском чепце поддерживала интеллектуала, готового обломиться под тяжестью воспламененной головы, Инес поехала в Москву, где в самом центре жила в изгнании Испанка – самая известная после Кармен и «Махи обнаженной».

Франкизм считал ее инкарнацией Дьявола.

Она была лучший друг отца.

Сын ее погиб под Сталинградом. Зато у внука – единственный в Москве «харлей». Слыша пререкающиеся голоса, одному из которых, юношескому баску, в конце концов пообещали на следующей неделе пятьсот рублей, Инес смотрела во двор, где мальчик, похожий на Хрущева, у стены гаража демонстрировал группе девочек поедание дождевого червя.

Рост выделял Испанку не только среди соотечественников.

У нее были серебряные волосы и, как обычно, она появилась в черном – контрастируя с салоном, пестрым от подарков Пикассо, Миро, Альберти и прочих почитателей. На людях она носила темные очки. Сейчас она была без очков. Элегантный череп, проступавший из-под черепашьей кожи, был исполнен достоинства уже вневременного. Что казалось невероятным, зная, что в детстве внучка и дочь баскских шахтеров была хрупкого здоровья.

– Ты не в Париже? – удивилась Пасионария.

– Я решила остаться.

– Мужчина?

– Да.

– Все мужчины одинаковы. Одни, правда, нежнее других. Это все взаимозаменяемо. Возвращайся к родителям. Русский?

– Да.

– Эти еще и пьют.

– Не он.

– Он кто?

Инес смутилась; она помнила как «Парижская группа» исключала из рядов Хорхе Семпруна и скандал вокруг фильма по его сценарию *La guerre est finie\** с Ив Монтаном в роли испанского коммуниста. Она знала про отношение Пасионарии к испанскому роману Хемингуэя – *For whom the bell tolls\*\** тридцать лет не мог появиться в русском переводе. Она откашлялась:

– Писатель.

– И не пьет?

– Нет.

– Зарабатывает мало?

– Пока ничего.

Пасионария помолчала.

– Приведи его как-нибудь. Вон пепельница твоего отца. Можешь курить. Хочешь кофе?

Возвращаясь, Инес ощущала хруст. У сгиба бедра в кармане джинсов. В Спутнике она выложила два бифштекса, завернутых в кальку, и десять пачек «Явы» – именно эти должны быть почему-то.

– Откуда?

---

\* «Война окончена» (фр.)

\*\* «По ком звонит колокол» (англ.)

Она бросила на рычажки машинки сотню:

– С коммунистическим приветом.

– От кого?

– От Долорес Ибаррури.

Глаза его раскрылись.

– Она жива?

Это для него была история – пройденная в школе, смутная, эмоций никаких не вызывающая. В отличие от веера червонцев. Вот только литература, которую финансировал Почетный Президент Компартии Испании, оказалась более чем зыбкой почвой. Рассказ вызвал энтузиазм и был поставлен в номер, но потом Александр вышел к ней, зажимающей уши, взял под руку и покатил прочь по наплывам льда.

– Сняли.

– Почему?

– Глумление, говорят...

Тогда она уже была с животом, и дома, отключая сознание, рисовала девочек-подростков – пока французские фломастеры не пересохли.

Коммунизм.

Москва.

Зима.

Жизнь спустя, созерцая из окна тощенькие кипарисы по ту сторону бетонной стены, она задает себе вопрос:

«Неужели все это было?»

Занавесившись от блеска проливного дождя и завернувшись в одеяла, изнуренные любовью и голодные, они сидели перед телевизором. Дрянь, фанерный ящик с маленьким экраном, который Александр, дитя эпохи дотелевизионной, никогда не включал – тем более, что вместо тумблера был штырь. Но Инес подобрала ключ – прямо на улице. Обыкновенный детский, для заводных игрушек.

Фильм назывался «Ленин в Октябре», но главным в Октябре был Сталин, а полудохлая телетруба, размывавшая образы 1937, превращала все это в чистый мазохизм, которому до послепраздников альтернативы не было.

Как вдруг стучат.

Телеграмма.

– *Padre!*..

Ливень, ажиотаж.

Пойманное на выезде из Спутника у свалки такси не решилось въехать под козырек гостиницы на пандус, который только что освободил огромный лимузин с пуленепробиваемыми черными стеклами.

– Вам помочь, молодые люди?

– Я к отцу.

– Работает у нас в Системе?

– Живет.

– Прошу вас...

Лифт.

Второй этаж. Бесшумный ковер, редкие двери. Перед последней сияет пара мужских туфель со стертым золотом ярлыков.

Она входит без стука:

– *Padre?*

Из-за синего занавеса сильный, усталый, сердечный голос:

– *Ss-i...*

Инес уходит за занавес, тогда как советский ее избранник, отмечая на своем лице улыбку растроганности по поводу проявления общечеловеческих чувств в испанском варианте, регистрирует детали сладкой жизни «наверху»: эlegantный чемодан со знакомой биркой *Air France*, шелковый галстук «в крапинку», переброшенный через пиджак висящего на стуле пиджака, минеральную воду «Боржоми», отличающуюся от той, которую он видел, аккуратностью ярлыков, тавтологию в названии «Ситро лимонное», которого в продаже он не видел, никелированную открывалку, окурочек американской сигареты в хрустальной пепельнице и три билета во Дворец съездов на праздничный концерт.

– Алехандро?..

Седой, смуглый, могучий, полный жизни родственник, которого (как это принято среди испанцев) он не решается «на ты», босой и в шелковых кальсонах, приобнимая, шлепает по лопатке:

– Кэ таль, Алехандро?

– Живем...

Его за это одобряют:

– Бьен!

Инес завязывает отцу галстук.

По осевым линиям столицы они едут на «Чайке» из гаража ЦК КПСС, что для Александра незабываемый опыт приобщения: целая комната с диваном и занавесками, перед которой постовые милиционеры, выпуская прицепленные к запястьям регулировочные палки, берут под козырек.

Кремль.

Александр еще не был. Пять лет живущий столичной жизнью, впервые, и сразу на «Чайке», въезжает он за эти стены – пустые внутренние площади, ели, соборы, башни...

Дворец съездов освещен.

За стеклом в пилонах, воспетых архитектурно чутким Вознесенским, – муравейник. Белый мрамор фойе. Гигантский зал, в центре порталной арки которого на красном луче левый профиль, лысый и с эспаньолкой – при могучем срубе шеи. Ансамбли песни и пляски – от каждой «республики» по одному. Высыпающие на сцену пестрыми сотнями. Изнурительно-помпезная скука, от которой в антракте они сбегают, пока ресторан не забили более дисциплинированные зрители.

В предположении, что шоферу по-французски подслушивать не положено, она говорит:

– *Nul\**.

На что Висенте отвечает, и возможно, искренне, что «Танец с саблями» всегда ему нравился.

Как советский, Александр держит язык за зубами. Потому что, как советский, думает при этом грубо и однозначно. *Блевотина*.

– Не одни мы умные, – говорит Висенте, входя в ресторан, где изысканно и одиноко питает себя персонаж с гофрированной прической.

Инес не знает, кто это, но Александр в поисках работы заглядывает и в газетные щиты:

– Уругвайский генсек.

– Живет, правда, в Москве. На Старой площади товарищи мне рассказывали анекдот...

– Наверно, похабный, – говорит Инес.

– В какую эпоху мы живем?

– По-моему в гнусную.

– А объективно?

---

\* Ничтожно (фр.)

– В брежневскую, – решается и Александр. – «Зрелого социализма».

– Сначала был матриархат, потом патриархат, а сейчас, сказали мне, секретариат. Выбирайте, – и Висенте открывает меню. На пяти языках, не исключая и русский, но Александр чувствует себя, как за границей. Как в чужой стране. Чтобы вернуться, позарез необходима рюмка водки, но он знает, что лед под ними тонкий. По пути его предупредили. Никаких телодвижений.

– У вас даже есть испанское?

Наглогато-красивая соотечественница Александра с кружевной наколкой в волосах советует лучше французское. Тень набегает на лицо Висенте:

– Я бы предпочел «Риоха».

Это настоящее вино. В теории Александр уже знает. Но, сдержав национальную потребность чокнуться, он после первого бокала испытывает дурноту, которой не бывало после «бормотухи». *Это настоящее* в конвульсиях подкатывает к горлу. Организм не принимает. *Может быть, он уже мутант?* Но кошмар начинается, когда ему приносят из чистой алчности заказанный шашлык по-кавказски. Александр знает, что для возвращения чувства собственного достоинства заключенным в американских тюрьмах первым делом приводят в порядок зубы. Он на свободе, но не в Америке и дуриком. Поскольку, с точки зрения Министерства обороны, он вообще в бегах и Всесоюзном розыске. За волю вольную приходится платить. Среди прочего – зубами. К стоматологии и медицине вообще доступа у нелегала нет. С обнаженными нервами во рту он пытается спасти свое достоинство. При этом остро сознавая, что, изящно разделяя диетические сырники, отец Инес, согласия на брак еще не давший, изучает его боковым зрением профессионального подпольщика...

И это ад.

Виски сыреют от истома.

По настоянию Висенте их отвозит черная машина. Язык они держат за зубами. Шофер принужден к молчанию тоже, но, как-никак, а сотрудник Кремля, он настолько скандализован выпавшим маршрутом, что аура вокруг него пульсирует. Седоки не выдерживают и, несмотря на то, что ливень перешел в ноябрьский жидкий снег, просят остановить на въезде в «спальный город».

У свалки.

Где диафрагма разжимается, выталкивая все обратно через рот страдания – кофе, мороженое, шашлык по-кавказски, испанское вино «Риоха», официанток, гэбэшников, генсеков, черные машины, «Танец с саблями» и тот, что вприсядку-всмятку сапоги, воспетый авангардистом Дворец съездов, стены древнего Кремля, праздничную Москву очередной Великой Годовщины и – Господи, как хорошо – е... мир в придачу.

– Пардон, – он утирается... – Сказала?

Она не сказала.

Не смогла.

Шесть плюс пять *по рогам*. Одиннадцать лет заключения. Не как в Карабанчеле – без преступления. И добровольного при этом. Тихий ужас охватывает ее при мысли: *неужели ничего хорошего?*

Невозможно, нет...

Постель. Несмотря на безумный тот, беспощадный, бритвенно-острый секс – производное от взаимных комплексов и умолчаний. Это было. Было – *на разрыв аорты*. А разговоры? Постель как диалог? Воспаленные речи дочери оратора, поднимающего толпы, на фоне его заблокированных заиканий? И она же, постель, как лоно бесконечной зимы, где в тишине снегопада она, подложив подушку и не замечая, что он уже отключился, переводит вполголоса то, что им по-русски все еще недоступно... Разве она не любила ту свою роль?

Медиум. Культуртрегер. Переводчик. Та самая, пушкинская почтовая лошадь прогресса. Вполне альтруистичная, увы.

Магнитофон бы. Перепечатать сотрясение воздуха в бетонных стенах.

Библиотека бы осталась.

*Запрещенная.*

То ли кружку пива хватив на морозе, то ли от добытых в уличных боях апельсинов, а может, просто от напора сил, достойных лучшего применения, он возвращается навеселе:

– Мон амур!

И сразу:

– Что с тобой? Глаза как пистолеты...

Она в упор:

– Отсюда нужно выбирать.

– В Париж?

– В Москву.

– В Париж отсюда легче.

– Александр, я серьезно. Доктор Пак сказал.

– Это еще что?

– Педиатр. Искал квартиру снять. Устроился здесь в поликлинике, семья в Алма-Ате. «Так вы узбек?» – «Нет, – как японец улыбается, – Алма-Ата – Киргизия. Но я кореец, так уж получилось». Мы, говорю, снимаем тоже, но, конечно, потеснились бы...

– Еще чего?

– ...если бы не мое состояние. «Третий месяц? – говорит мне сразу доктор Пак. – Выбирайтесь в Москву пока не поздно. Вы не представляете, что здесь творится. Сто тысяч человек, и без роддома». – «А рожают как?» Знаешь, что он сказал?

– Ну?

– «В такси. Если водитель повезет...»

Он сел, сжал голову.

– Александр?

– У?

– Нужно что-то делать.

Но он оцепенел.

Что и понятно. Мобильность не в характере зимы. Но жизнь, хочешь не хочешь, есть движение.

Вот только, куда?

– Поскольку русские морозы только начинаются... – Из чемодана Висенте вынимает огромный пакет из *Galleries Lafayette*\*.

– Тебе.

Дубленка. Ослепительная. Белая, как снег. мех воротника ласкает щеки. Преображенная, опять парижская, Инес поворачивается от зеркала и чувствует сама – глаза сияют. Тем более, что оторопелому избраннику протягивается кабинетный пиджак с замшей на локтях:

– В Лондоне купил. Примерь.

---

\* Один из «больших магазинов» Парижа.



Александр себя не узнает.

– Вот! Сразу видно, что писатель. А это, – вынимая шаль и по-испански, – я для его матери. Они уже здесь?

Помолвка...

Этот момент неминуем.

*Встречи миров.*

Один из которых – и это видно уже издалека – заранее в обиде. Так они переминаются, поскрипывая снегом, на фоне полутемного дома. Отморозивший здесь ноги еще в 41-м, в составе сибирских дивизий, которые спасли Москву, отчим молчит, а мама не скрывает:

– Прилетаем, никого...

– Столичные дистанции, – бормочет блудный полусын. – Ни телефона, ни... Это Инес.

– Очень приятно. Мы уже восвояси собирались. Не солоно хлебавши...

Беспощадной правды о сыне-нелегале родители не знают, но хватает и того, что есть. Что учебу он никак не кончит, вбил в голову себе, что он «писатель», а вот теперь еще и это...

– *Иностранка*, значит, говоришь?

Мать моет тарелки после концентрированного французского супчика из спаржи, отсёрбав который отчим удалился до утра по военно-полевому принципу «недоешь-переспишь».

– Нет, – отвечает Александр. – Цену набивает.

Сарказмы его игнорируются:

– Я почему? Акцента никакого, излагает гладко. Наши не все так говорят... И с виду тоже. То ли еврейка, то ли грузинка. Я думала, Софи Лорен. Или эта, которая тебе так нравилась.

– Кто мне нравился?

– Уже не помнит... Моника Витти.

– Это итальянки.

– А она?

– Испанка.

Помолчав, мать говорит:

– Зарежет.

– За что?

– А как Кармен.

– Это Кармен зарезали, а не она.

– Видишь? Они такие.

– Какие?  
– Док-кихоты в облаках, а не по-ихнему что, сразу за нож. – Чтобы из ванной не услышали, голос понижается. – Папаша ее...

– Что?

– Партейный шибко?

– Лидер...

– А с нашими-то как? Этот все переживает, дужки очков изгрыз. На партсобрании им говорили... Какие-то там «евро» появились, так вроде наши их не очень. Сам знаешь, как у них. Вчера «Москва-Пекин, идут-идут народы», сегодня это... *Хуйвэйбин*. Тьфу? Не захочешь – скажешь. А ты не смейся, а подумай лучше. Куда, сынок, влезаешь...

– Никуда я не влезаю.

– Дома жил, все собачились. Сталин, Солженицын, лагеря... Переменился, что ли?

– Почему? Остался каким был.

– Тебе видней, конечно. Только не для того я тебя рожала, чтобы отдавать им ни за понюшку табака.

– Кому?

Намертво заворачивая кран, она смотрит обреченно и как на последнее говно, которое только у матери способно вызвать жалость:

– Кому-кому... Сам знаешь.

Инес они, скорее, нравятся. Как из кино пятидесятых. Предстоящая бель-мэр похожа... она не помнит на кого, но отчим – чистый Бэрт Ланкастер.

– Понимаешь...

– Спи. Как будет, так и будет.

Висенте приехал в Спутник, имея в кармане пиджака билеты в Большой театр. Чтобы после ритуала увезти обретенных родственников на «Анну Каренину» – с Плисецкой.

Но до спектакля еще было время.

Сторона Александра вручила испанцу ответный дар.

Матрешку.

В присутствии старшего по званию советский ее почти бо-пер и Бэрт Ланкастер стояли столбом – почти по стойке «смирно», но, к счастью, в позиции невмешательства. Тогда как бель-мэр, следуя неизвестному Западу принципу «ругай своих, чтобы чужие хвалили» для начала обрушилась на Александра – сына не то, чтобы заблудшего, но как бы

уже гибнущего. Слушая в синхронном переводе Инес очередную дозу утешений со стороны Висенте, она начинала горестно кивать. *На мякине нас не проведешь* – такой имела вид бель-мэр. И в этом смысле самовыражалась – с помощью Инес, которая переводила с отрешенным видом.

Висенте излучал все больший оптимизм по поводу выбора своей дочери:

– Все у него будет хорошо. И диплом получит, и книгу свою напишет – увидите. Еще и не одну.

Мать вздыхала:

– Нашему б теляти...

На что, опуская ладонь Александру на колено, Инес переводила с испанского:

– О чем вы говорите? Молодой, красивый, спиритуальный, полный сил...

– Каких же сил, когда он болен. Ничего, что я, сынок? Скрывать от суженой нельзя.

На лице Висенте сияющая маска отслоилась:

– *¿Que le pasa?\**

– Что с ним? – перевела Инес.

– Язва.

– Какая?

– Двенадцатиперстной.

Висенте отмахнулся:

– Во Франции у каждого второго...

– Хроник. С тринадцати лет страдает. Когда *уединяться* стал, но я боролась, предупреждала, потерпи хоть до шестнадцати...

*Неужели и это переводит?*

– Пройдет, как не было. Любовь излечит. Главное, что любят они друг друга.

– Любовью сыт не будешь, говорят у нас...

– Ну это как-нибудь.

– А как?

– Ну, будем помогать из Франции.

– Потому что нам тут помогать не на что, а на стипендии свои не проживут. Тем более с ребенком.

Мертвея, Инес перевела.

Ее отец не потерял улыбки:

– *¿Nino? ¿Que nino?*

---

\* Что случилось? (исп.)

Как машина, она перевела и этот вопрос:

– Какой ребенок?

Мать Александра возмутилась:

– Меня что, в этом доме за дуру принимают?

– Нет, – прервала Инес посредничество в деле взаимопонимания миров. Мой отец не знал, что я беременна.

*Estoy encinta ¿Padre?*

Висенте окаменел.

Инес тоже.

Оставшись без перевода, бель-мэр продолжала одностороннее общение:

– Чего таить, теперь свои же люди? В третьем колене, значит, как? Отца, когда забрали, он кровь был с молоком – силач-бомбила. Мать моя умерла от рака поджелудочной, но по отцовской линии ему, скорей, грозит полегочному. Как говорится, петербургская болезнь. Это тебе на будущее, а отцу передай, чтоб за генофонд не беспокоился, ведь я вижу, улыбается, а сердце на части рвется. Дедуля Александра, правда, запил с горя, когда жизнь не получилась, но уже под старость лет, а так – (и отчиму) ну, что ж, Михаил? Стыдиться перед Западом нам вроде нечем. Ни алкоголиков, ни этих, венболезней. Дурдом нас тоже, слава Богу, миновал. Так что с наследственностью все *о'кей*. Как вы говорите. Или только в Америке?

Это был «Скверный анекдот». Необратимо. Что все это случилось – Александр отказывался верить.

Под человеком, хоть и нелегальным, но с остатками достоинства, каким он был до этой международной встречи, разверзлась бездна унижения, и он летел туда со всем, что было за душой – с непоправимой, все еще красивой матерью, с бедным, но честным сталинистом, который в своем изгнанническом сибирстве даже Федора Михалыча не признавал за русского, с ним, с Достоевским, с Петербургом, со всем, что от страны осталось еще внутри, в груди, под солнечным сплетением, которое сжалось, как кулак.

И все это срывалось в пропасть.

Виsia в полете...

Дна поскольку не было.

Теперь мать повышала его акции, заодно входя в детали на тему, чего ей это стоило: «Галстуки пионерские только шелковые были...»

Удерживая пепел на весу, испанский тесть затягивался как-то из-под сигареты.

Александр встал.

Отсутствующим пахом уперся на кухне в подоконник.

Внизу терпеливо сверкала «Чайка» – черное зеркало на пылающей голубизне.

Вошла Инес.

– Найди мне способ самоубийства.

Отобрала сигарету, затянулась.

– А ты мне.

Бэрт Ланкастер, в лице не изменившись, одевался сам с присущей обстоятельностью, тогда как галантный иностранец, прощелыга и, надо думать, ловелас, подавал матери пальто, на котором она, стыдливо оглядываясь, ловила, пытаясь сокрыть руками, какие-то дефекты – эти вот вытертости, что ли?

– А вот спросить насчет «евро»... Чего ты молчишь, Михаил? По-русски-то понимает. Товарищ Висенте? не заню, как по отчеству. Я чего... У нас в России говорят, высоко взлетел, не пришлось бы падать. Так вот все эти «волги»-«чайки», марецкие-плисецкие, Кремль-Москва...

С хищной улыбкой Висенте осматривал свою западноевропейскую шляпу.

– А не получится, как в Африке? Как того, Алесандра... Чумба? Чомба?

Даже отчим крикнул:

– Эк тебя...

– А что? Я – мать.

Со шляпой в пальцах Висенте откуда-то издали смотрел на дочь, которая очень спокойно спросила:

– Что вы имеете в виду?

– А то, что раньше во всех газетах: «Чомбе! Чомбе!» Сейчас открой хоть «Правду», хоть «Известия». Где Чомбе? Был, и нет? А эти что тогда – на шею Михаилу?

Достала.

Глаза сверкнули гневом, но, надев шляпу, пожилой испанец снова улыбнулся:

– Гарантий требует? Переведи. Русский сказал... *Игры не будет, ничего не будет.*

Не без кокетства мать взяла его под руку.

У выхода Александр поймал полу суконной шинели: «Ты мелом где-то...» Очищая, добавил, что в Большой театр

простому смертному попасть непросто, тем более на Плисецкую.

– А-а, – разжал горло отчим. – За меня не беспокойся. Вернусь, сынок, литр водки выпью и буду жить, как не было.

Сжимая забытую матрешку, Инес смотрела вслед. Она отвернулась, но он заметил, что на лице ее блеснули слезы.

На снегу догорал закат.

Не исключая возможности материнского подслушивания, оправдывал он их в постели шепотом:

– На взгляд извне – конечно. Но патология не просто. Реакция на то, что с ними делали. История за этим. Та самая, на юбилей которой прилетает твой. Здоровая бы психика не вынесла.

Но Инес была дрожь:

– Я их боюсь.

Перед отъездом мать вцепилась в лацканы:

– *Задание?*

Он открыл рот, который ему зажали:

– Ни слова! Храни. А мы будем считать: он выбрал интеллект. Но бедра узкие. Как будет рожать?

Висенте ждал ее в фойе «Октябрьской».

– Замерзла?

Расстегивая дубленку, она сдержала зубы и мотнула головой – то было нервное. По мраморным ступеням они поднялись в гардероб, где без присмотра, как при коммунизме, висели одежды посетителей гостиницы – сотрудников Международного отдела.

Он помог раздеться, сам повесил на свободный бронзовый крючок.

Предупредителен был, как с больной. Привел за отдаленный столик. В обмерзшее стекло стены смотрели заснеженные лапы ели. Снег валил во внутреннем дворике – не тронуту-глухом...

Ужинали без вина.

Он тоже заказал себе кофе.

– Что я могу сказать? Сама все понимаешь.

Она молчала.

– Возвращайся.

– А он?

Пепел Висенте никогда не стряхивал – раньше, во времена ее ранней юности и черного табака, он пачкал свои рукописи беспощадными «голузами» без фильтра. Сейчас он узил зрачки на серебристом столбике, который даже при прочности американского пепла грозил уже сломиться.

– Откуда он, ты видела.

– А ты откуда был?

– Ну, я... Какая-никакая, а Европа.

– Россия тоже.

– Была, согласен. Задолго до его рождения.

– Ты же всегда нам говорил. Неважно, откуда человек, важно – куда.

– А куда?

Она молчала.

– Куда отсюда можно? – сказал он. – Разве что на Запад...

– А если?

– Антикommунистов нам и без него хватает.

Удержав пепел до самого фильтра, Висенте не сронил его и по пути к пепельнице. При всей его почвенной мощи руки у него были изящные. Веки окрашены почти коричневым изнеможением. На нее, на «черную овцу» семьи, взглянули умные глаза отца, который воспламенял по миру тысячи:

– Я понимаю народовольцев, которые ходили в народ. Но это ведь даже народом не назвать. Черт знает что... сброд одичавший?

– Благодаря кому?

Он развернул ладонь, предотвращая демагогию.

– Ты родилась во Франции, там твоя жизнь. Где разум, где культура. Подумай. Место в лицее еще свободно, кстати...

В фойе, в огромных кожаных креслах, они успели выкурить еще по сигарете. Созерцая снегопад. Во внутреннем дворике, таком удобном для расстрела.

К ним наклонились:

– Машина у подъезда.

Дубленки на месте не оказалось.

Ее парижской – белой...

Цековские пальто и шубы висели, как ни в чем не бывало, а крюк, на который отец повесил свой подарок, был пуст. Дерево под ним отливало темным лаком. Перевесили? Но с обратной стороны не было тоже.

Они обошли весь гардероб.

– Не понимаю...

– Украли.

– Из закрытой гостиницы? Чужих здесь нет.

– Тогда свои?

– Не впадай в цинизм. Несчастную дубленку, когда здесь норки?

– Значит, снова Кафка.

– Подожди... – Взяв себя за левое плечо, отец потирал его большим пальцем.

Она спустилась. Снег за стеклом валил по-прежнему. Вот и расстреляли. И даже замело...

У конторки, спиной к дежурному, отец понизил голос в трубку, хотя говорил по-испански.

– Сейчас приедут. Иди ко мне.

В номере пахло, как в «красном поясе» Парижа – когда он работал. На столе страницы, продавленные крупным почерком, таким корявым, что глаза ей обожгло.

Вернувшись, он отнял:

– «Правда» заказала статью, я подумал, деньги тебе не помешают. Может быть, порву.

– Почему?

– Потому что ты права. *Они*.

– Как ты узнал?

– ЦК сказал мне. ЦК боится, что вырвать из когтей уже не сможет. Им – *для работы*.

– Именно моя?

– Размер, говорят, редкий. *Los bandidos!*

Номер отозвался резонансом встроенных микрофонов, но он, кивнув ей в знак того, что на самом деле под самоконтролем и сердце бережет, продолжал кричать про уголовников с большой дороги, которые раздели дочь среди Москвы – и где? В международном штабе движения за гуманизм! Прогресс! Демократию! Свободу! Что на это скажут товарищи в Европе? Париже? Риме?

Она затягивалась, пальцы дрожали. То была не трибунная риторика. Единственная форма общения с потусторонним миром, где-то в своем бункере неторопливо мотавшим



из-под сердца идущий голос на огромные и равнодушные бобины.

Он понял кулаки:

– А те, в Испании? Те, кто рискует днем и ночью? Аре-стом, пытками, тюрьмой, *гарротой*? Те, кто томится в оди-ночках? В Бургосе? В Карабанчеле? Сотни заключенных по стране за коммунизм?

Сигарета отбрызнула искрами – рывком она прильнула к этой груди, под пиджаком обхватывая, сжимая свои руки за каменной спиной, он был, как ствол, как ствол под кор-невищем, только сердце забухало, когда осекся и взял ее за голову, а она прижималась к мокнущему шелку матерью выбранного галстука, к плотности рубашки, к запаху таба-ка, одеколона, пота – тем сильнее, чем ужасней было отпу-стить, тем крепче, чем больше жгло за этот невозможный, немислимый, позорный, чисто русский выброс – оправдан-ный разве что местом действия.

– *¿Hija..?\**

Висенте постучал коленом в дверь, когда советский лю-бовник его дочери, продолжая изыскания на тему насилия в испанской литературе и обложившись наконец-то инте-ресными (*Nada!*\*\* Боже, какое слово!) романами Кармен Лафорет и Камило Хосе Села, вникал в экзистенциальные глубины «тремендизма» – в буквальном переводе, *ужасизм*.

– Где она?

– Спит.

– Бери...

Картонка с сувенирной водкой. Висенте повернулся бо-ком, подставляя еще две тушки в магазинной обертке – за-мороженные на бегу. Пакет набит был так, что при попыт-ке повесить на вешалку соскочил и шмякнулся об пол. В нос ударило овчиной.

– Нашлась?

– ЦК замену подобрал.

– Какой ЦК?

– ЦК КПСС. Надеется, не слишком велика. Пещерная шура, конечно, но теплая, смотри? Для вашей жизни да-же адекватней.

---

\* Дочь..? (исп.)

\*\* Ничто (исп.)

Сдвинув на затылок шляпу и расстегнувшись, Висенте бросил на стол конверт:

– Деньги.

– Спасибо.

– Не за что, Алехандро! Алкоголь не для того, чтобы напиваться с горя.

*Угу. А для наружного лечения.*

– Слышишь?

Алехандро кивнул.

Закрепив «мессаж» свой интенсивным взглядом, Висенте указал на тушки:

– Как это по-русски, «зайцы»?

– Кролики.

– Она говорит мне: «Нечего есть». Просто вы долго спите. Утром у вас в магазинах есть все. Я сделал эксперимент. Пошел в «гастроном» рядом с отелем «Украина»... Знаешь?

– *Кутузовский проспект.*

– И что?

– Там они все живут. Андропов, Брежнев. У них не только кролики – горилка с перцем.

– А здесь?

– А здесь рабочие.

– И что?

– И ничего.

– Ты говоришь, как диссидент.

– Как есть...

Висенте застегнулся:

– Веди меня.

– Куда? – опешил Александр.

– В ближайший магазин. Куда вы ходите?

– Ну, что вы...

– Подать тебе пальто?

Шофер, гонявший детей от «Чайки», схватился за хромированную рукоять, но Висенте отмахнулся.

Пол был заслякочен.

Висенте изучил пустые крюки в мясном отделе. Под витриной стоял противень с белым комбижиром. В отделе бакалеи он взял с полки ободранный брикет.

– Что это?

– Каша-концентрат.

– Гречневая?

– Да.

– В школе Коминтерна нас кормили. Полезный продукт. Железа очень много... А это?

И снял куль.

Выжидательно шевеля усами, из серых макарон на них обоих смотрели тараканы.

Висенте отшвырнул продукт.

Вслед им кричали:

– Чего кидаешь? Раскидался! Старик, а все туда же! фу-люганить! Еще и в шляпе...

На морозе Висенте схватил его за рукав:

– Ты видел, как они едят? Советские – как ты. Так брось в лицо им этот паспорт! *Cojones\** есть? Мужчина?

Ощущая, что *cojones* сжались в кулак, Александр кивнул...

– На твоём месте я бы не стерпел!

– Да... Но как?

– Сам думай! Я в своё время взбунтовался.

Выпустив пар ярости, испанский тесть молчал. Под тонкими туфлями хрустело, а на обледенелой дороге Александр подхватил его за локоть.

На виду у шофера, наблюдающего в зеркало заднего обзора, Висенте взял его за плечи:

– Прощаемся надолго. Может, навсегда. Еду *вовнутрь*.

Александр открыл глаза.

– К себе на родину. Но перед этим что-нибудь придумаю. Теперь ты мне, как сын. Ты понял? Береги её. *Адъос*.

И растворился в сумерках. Шел снег.

Овчиной за дверью разило по-деревенски. Дубленка была брошена на пол кверху ярлыком: *Made in Mongolia*.

Держа себя за локоть, Инес затягивалась натошак. В свитере и колготках – как проснулась. Новенькие червонцы с красноватым Лениным разлетелись по столу. Три бутылки высились у нарядной коробки «50 лет СССР». Бумага, из которой торчало восемь лап, набухла, разбавленная кровь стекала, капая на линолеум.

– Откуда мерзость?

– Падре привез.

– Где он?

– Не хотел тебя будить.

---

\* Яйца (исп.)

Глаза сверкнули:

– Он уехал?

– В Испанию. И знаешь, что сказал? Что я ему как сын.

– А мне, чтоб бросила тебя и возвращалась.

Александр криво улыбнулся.

– Разве?

– Да.

– Ну и что... Единство противоречий. *Живая жизнь*. К тому же не последние слова. И может быть, он прав...

– Что ты сказал?

Она размахнулась; слетев, ударившись о плинтус, кролики выскочили из обертки, но, окровавленные, удержались вместе – сцепленные льдом намертво.

– Нет, *повтори?*

«Московская» рванула об стену, как граната. *Б-бах*.

За ней «Столичная»...

*Б-бах*.

«Посольскую» Александр перехватил.

На носу был Новый год – в самый канун которого, с авоськой апельсинов, хотя и марокканских, но уже горячо, он стал столбом где-то под снегом у щита с газетой, которую не читал никогда. Потом взял тяжесть на локоть, раскрыл отделанную перламутром миниатюрную толедскую наваху, подарок Инес к их Рождеству, и, оглянувшись, резанул из «Правды» квадрат слоеной бумаги. Застегнул за пазуху и, ощущая, как колотит под ним единство противоречий, унес в метельный сумрак.

В отношении жилплощади Висенте доказал, что «пролетарская солидарность» не звук пустой.

Лет десять назад – Александр был пионером у себя в глубинке – Висенте, находясь в Испании с паспортом на вымышленное имя, не дождался в мадридском кафе товарища-нелегала. По пути на встречу тот был арестован агентами политической полиции и во время допроса, согласно официальной версии, выбросился из окна.

Цивилизованный мир – включая Александра, поставившего подпись где сказали, – возмущен был этой гибелью в Испании.

Брат погибшего героя жил в Москве.

Считая себя испанским писателем в изгнании, Серхио

вынужден был держаться журналистикой – где брали. Но, пережив микроинфаркт, с «фрилансом» решил покончить и подписал контракт с Радио «Пиренаика», которое финансировалось международными силами прогресса и доброй воли. Находилось Радио в Румынии, куда Серхио и собирался отбыть по весне – вместе с женой Надеждой и русско-испанской их дочерью Ньюшей. По просьбе Висенте он согласился на время отсутствия оставить казенную квартиру Инес и Александру.

Ехать было страшно далеко.

Но это была Москва.

Город.

Серо-кирпичные дома были на совесть здесь построены еще пленными немцами. Улицы назвались Куусинена, Гергиу-Дежа, Рихарда Зорге – что придавало кварталу известный космополитизм.

Лифт даже...

На последнем этаже они вышли.

Собаки за дверью пытались перегавкать музыку.

Инес сказала:

– «*Who*».

– Что ты имеешь в виду?

Надежда открыла с сигаретой в руках. Серхио не было. Коридором, где-то из-за первой двойной двери ревели «Ху», а вторая была прикрыта в писательский кабинет, она привела их на кухню объемом с операционную. Тут был диван, табуреты, заставленные бутылками из-под «Жигулевского», и бывалый парень с «Беломором» в стальных зубах.

– Сосед. Сергунчик...

Мигнув Александру, поскольку Надежда была старше, парень добавил:

– Но лучше Серый. Я пошел?

– Жена его в клинике врачом, – сказала вслед Надежда. – Хороший парень. «Колеса» мне приносит.

– Какие?

– Против депрессии. Международный брак, ты думаешь, подарок?

Инес взглянула на влажные дырки горлышек:

– А совместимо?

– Самый кайф. Еще бы беленькой добавить...

Намек Александр понял – в перспективе новой жизни все в нем обострилось. Сначала Надежда отказывалась, по-

том прекратила музыку и придала дочь Ньюшу – в качестве проводника в «отдел». Русская курносость, нерусская длинноногость и горячие глаза с невиданным разрезом. Акцент был неожиданным, хотя его называли: «Дядя...» После ряда школ и стран, которые она уже сменила, невозможно было представить – что в ней творится. Чтобы не быть одного с ним роста, девочка сутулилась, обнаружив под нейлоновой стеганкой ломкость, от которой сжималось сердце.

На улице мело.

– Сигареты вы тоже будете покупать?

– А что?

У винного отдела Ньюша сняла варежку и сунула четырнадцать копеек, которые он сунул обратно в потную ладонь:

– Каких?

Она курила «Солнышко».

– Маме не говорите, ладно?

Ударивший в ноздри перегаром кубинских сигарет кабинет испанского писателя оказался не только спальней, но и гостиной – все вмещалось. Пепельницы были полны. Потолок, высокий и с лепниной, от никотина пожелтел и был обметан паутиной. Обои в винных пятнах и подтеках от кофе, который, возможно, бросался в стену при попытках преодолеть профессиональную блокировку. По запущенному паркету свивался телефонный провод в заклеяках от многократных перекусов. Маленькие, но с львиным рыком, собаки изгрызли также ножки кресел и словари на книжных полках.

Книги, кажется, на всех языках – кроме русского.

– А Серхио где?

– Ищи, – ответила Надежда, которая, хватив водки с «колесами», развивала за спиной тему невозможности смешанных браков. – В Марьиной Роще столько было ухажеров! Свои в доску, заводные, с гитарами. Выбрала, дура. Когда не пишет, жить не может, а пишет – не живет. Хоть бы по-русски-то писал...

Она стала ругать эмиграцию – и в Варшаве паршивую, и в Праге, даже и в Брюсселе, про Москву уже не говорю, а что их ожидает под Дракулеску с Еленой его Ужасной можно себе представить: «Боюсь, вернемся без него. Он же, как без кожи...»

Александр наткнулся на одну – убого изданную в Мексике. Типографские изыски, доходящие до сплошной черно-

ты страниц, ответили на немой вопрос, почему, несмотря на брата, в стране соцреализма изгнанника не переводят.

– Вы еще, конечно, молодые, но я тебе скажу, как это происходит. Сначала исчезает музыка. Ты понимаешь, *здесь*, – удары промеж грудей. – Оглянешься, а и жизнь ушла. Куда?

Инес утешала в том смысле, что после первого инфаркта, к тому же микро, можно жить и жить – отец тому пример.

Лицо писателя показалось Александру очень испанским. Не только оливковость, но и общая их отрешенность. Только не взрывчатая, как у Висенте, а подавленно-угрюмая. Высокий и худой, как жердь, изгнанник появился в заснеженном пальто, буркнул *буэнос тардес*, вынул из бокового кармана бутылку, затем вторую и, опуская на столик, задержал на весу, демонстрируя черно-зеленые ярлыки «Московской».

– Сержик! Молоток!..

При всем отсутствии интереса жильцов к сфере обитания в комнате было нечто не дававшее покоя Александру весь день – в одну из полированных дверей импортной «стенки», этой мечты миллионов, вбит был гвоздь. Большой такой гвоздила. Здесь все придется приводить в порядок, но этот гвоздь хотелось вырвать сразу – весны не дожидаясь. Зачем он – угрожающий? Александр подозревал «афишевание», надрыв. Но гвоздь оказался вполне рациональным: взявшись за расплюсченную шляпку, писатель открыл бар.

Надежда предупредила:

– Ей нельзя!

Глянув на живот Инес, писатель оставил один хрустальный бокал взаперти. Как с разбитым позвоночником, он свалился в кресло с обколотым подлокотником, взял бутылку.

Закусок не было.

Тоста бы тоже, если б не Надежда:

– Еще раз со свиданьем! И за вашу новую жизнь...

Пили здесь не чокаясь.

Писатель курил *Partagas* и общался с Инес, но не столько фразами, сколько подтекстом, только им, эмигрантам, и понятным. Надежда повернулась к соотечественнику:

- За границей не был?
- Что вы...
- Разве что только это. Ухажеров все равно пересажали, а я, по крайней мере, повидала мир. И ты увидишь.
- Я?
- А вот попомнишь. Жизнь будет, как в кино. Но только знаешь?
- Что?
- Сказать? Марьину рощу потеряешь.

Руки оттягивала пишущая машинка. Спонтанный подарок Серхио, который захлопнул за ними дверцу лифта:

– Буэнас ночес!

Инес подавила зевок.

Вьюга задувала так, что даже с тяжестью уносило по льду. Инес впилась ему в рукав. Они свернули за угол. Трогуаров от проезжей части было не отличить – все занесло заподлицо. Внизу у перекрестка, где стоянка такси, светила вывеска «Диета». В красноватом излучении Инес, зажимая уши, дрожала от холода и возбуждения:

– Неужели б-будем жить в Москве?

Изредка, внимания не обращая, мимо проплывали зеленые огоньки.

Один притормозил. Таксист склонился – с монголоидными скулами, без глаз и в шляпе с кожаным верхом, которая ему была мала.

– В Спутник? – крикнул Александр.

Шофер показал два пальца.

Не символическое «V» – двойной тариф.

Пишущую машинку он держал на коленях. Инес прижалась и уснула – несмотря на то, что мотало на поворотах так, что он обнял ее одной рукой. Пьяный, что ли? Но перегар только бензиновый. Слетев на набережную Москва-реки, которая служила сейчас свалкой для сброса снега, таксист погнался вдоль сплошного сугроба парашютов так, что все задрезжало. Давления на диафрагму Александр не вынес:

– Шеф? Будущую мать везу.

– Он везет. Я везу.

– Так и вези.

– Не боись...

И крутанул перед внезапным военным грузовиком.



Александра ударило стекло. В голову справа, где эмоции. Хорошо, через шапку.

Даже не извинился.

– Останови.

Мычание в ответ.

– Слышишь, нет?

Но тот, окаменев, гнал дальше. Горячий пот прошиб се-дока. Хоть и пожилой, водитель не просто выпил, лыка он не вяжет. Е... машинкой? Сжимая чугунную голову, Александр увидел, как «волга» с ними вылетает с верхотуры Метромоста, под которым лед. Вот так. Попались. Была страна, и жил себе не ведая. Как вдруг открыл глаза – в плену. Ловушка! На троих уже – включая то, что толкается из живота Инес.

Которая спала.

Ни жив, ни мертв, он созерцал, как отлетают Ленинские горы с горящим высотным зданием МГУ. «Красные дома» – квартал испанской эмиграции. Призрачные новостройки Юго-Запада. Круто свернув, колеса удержались на заключительном шоссе. Свет фар летел через метель. Кладбище позади. Мост над Окружной дорогой с еще светящей будкой ГАИ. Все, Москва позади. Встречного движения не будет. Расслабляя брюшные мышцы, Александр выдохнул...

И получил удар под дых.

Машинкой.

Колеса бешено вращались в воздухе.

Всей своей тонной машина рухнула – и от удара чугуном по яйцам глаза у Александра вылезли.

Мотор заглох.

Шеф улегся на свою баранку, устроился щекой и захрапел. Шапка отвалилась, оголив лысину.

За лобовым стеклом мотался свет. Проглядывали бетонная стена, ворота и плакат, который еще держался. Порыв отпустил, жесть хлопнула по решетке образом. Раскрашенном по трафарету. Человечек срывался со стрелы подъемного крана на глазах у пацанки, в запоздалом ужасе разинувшей рот: **ПАПА, БЕРЕГИ СЕБЯ.**

Будущая мать проснулась:

– Мы дома?

Живот, из которого уже вылезал пупок, изысканно завязанный ей в клинике Нейи-сюр-Сен, этот живот еще не

проступал из шкуры, которая ее не красила, но защищала до колен, а выше она не проваливалась. Она оглядывалась и, стискивая уши, что-то кричала, предварительно завязав ему под подбородком шапку так, что он ничего не слышал, но, поскольку Дульсинея при этом улыбалась, он кивал: *конечно*. Им повезет. Все будет хорошо. Не так, как у других. Иначе.

Исчезая в метельной тьме, целина неуклонно поднималась. Сжимая зубы, помогая себе толчками лобковой кости, он пер сквозь эту стену подарок, который в коченеющих руках превращался в сугроб у живота – с латинским шрифтом, надстрочными значками, как в жутком *niño\**, с перевернутыми на голову восклицательным и вопросительным в начало, без которых эти испанцы просто не могут интонационно понять, где вопрос, где крик, и это все уже у снега в брюхе.

Там, *внутри*.

## ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК

Бетон и кипарисы.

Дворец смерти вполне элегантен.

Отчасти, впрочем, ей напоминает бункер.

У себя в номере, который выходит на сверхсовременный похоронный комплекс Мадрида, столь новорожденный, что вечнозеленые деревья – еще и пинии как женский символ – словно бы неуверенны в том, что примутся, пустят корни и пойдут в рост, в этой безличной гостинице, словно бы созданной именно для нее, сорокалетняя женщина себя чувствует абсолютно на грани – нет, синьор Алмодовар, не нервного припадка. Эти трещины она как раз удерживает.

Изнemoжения.

Опускаясь, она вытаскивает из-под себя газеты – местные, со вчерашним известием. Сил нет не только читать – отложить...

Закрывая глаза и откидываясь, она видит «красный пояс» столицы изгнанников этого мира, где в бетонной коробке, вместе со всем этим домом дрожащей от подходящих снаружи к заправке рефрижераторов, они, все четверо, по-

---

\* Ребенок (исп.)

переменно всовывая руки, поедают оливки из темно-зеленой, с тусклым золотом банки, а он, как всегда возникающий из ниоткуда и снова туда уходящий (капли, стекая, блестят на плаще), с увлечением, как настоящий, постоянный отец, рассказывает им, галчатам, по тогдашним документам, детям овдовевшей *Mme Durand* (почерпнутой, возможно, коммунистами для матери из самоучителя *Le Francais Accelere\**), рассказывает про деревья в Андалузии, еще завезенные древними греками – что с виду они жестяные. И как шумят, когда на склонах ветер. И что свежие плоды их с консервированными ничего общего, дети мои, не имеют.

«Они терпкие и даже горькие...»

Оливки.

Церковная золотистость тягучего масла из канистр, которые посылались потом ей с оказией на другую окраину Европы – где все обрывалось...

Противоположную.

Где в сознании стынет пятно.

Где все еще правит часть *целого* – партия. Та же, которая здесь находилась под запретом, когда Инес впервые решились отправить «вовнутрь».

С ребенком.

А куда было их девать в судьбоносный момент?

Замызганные стекла вокзала Аустерлиц процеживают предзакатное солнце. Гомес, готовый разорвать любого, обеспечивает тылы, а мать, смущенно сунув деньги в задний карман ее джинсов, напоследок проверяет – как товарища, убывающего в тыл врага:

– Как тебя зовут?

– *Эсперанса*.

– Фамилия? – И поскольку у испанцев не только отца, но и матери тоже: – *Вторая?* Правильно. Где ты живешь?

Координаты Эсперансы, занесенной на этот раз почему-то в Осло, она вспоминает с запинкой:

– *A3... Neuberggatten?*

Мать говорит:

– Паспорт возьмешь в туалет, повторишь еще раз. Перед проверкой расслабь лицевые мускулы. И не волнуйся.

---

\* «Ускоренный курс французского» (фр.)

Поднимаясь в вагон, она ощущает, как поправилась после Москвы. Темные волосы восстановили свой блеск и завились колечками. Отражаясь в стеклах дверей, она чем-то напоминает себе героиню «Последнего танго в Париже».

Поезд набит испанцами и багажом.

Это «алеманес» – возвращенцы из Германии.

– *Que bonita!*\* Тебя Ньевес зовут?

Конспиративно держа язык за зубами, трехлетняя Анастасия энергично мотает головой.

Купе загромождает картонки с надписью Telefunken: один нам, другой родителям, а везет нелегально, сразу ей сообщает соседка. «Зубы детям вылечили бесплатно, школа была хорошая», – рассказывает она о чужбине, а муж, вправляя за спину нейлоновую рубашку, засученную на могучих руках, то и дело выходит:

– Когда же граница?

Он пристаёт к проводнику.

Курит одну за одной.

И потеет.

– Не терпится... Телевизоры, боишься, отберут?

Из коридора отмашка:

– Женщина! Вам не понять...

После Бордо все едят из немецких газет очень скучного вида. Анастасия ест с ними. Но не она: «Нет, спасибо. Я действительно... Правда...»

А про себя, как заело пластинку:

*Эсперанса. Эсперанса.*

Сводит кишечник. Но, не спрашивая ничего, и те и другие – фуражки приплюснуты – возвращают ей в руки фальшивку. Липу зеленую. С золотым орлом-стервятником, этак по-матерински, насадкой, клушей прикрывающим герб средневековой сложности. *Королевство*. Вот так и бросает всю жизнь – из крайности в другую.

Единое, Великое, Свободное.

*Espana.*

Родина? Новая фаза деперсонализации?

Как бы то ни было, мы уже в брюхе. *Внутри*. Непрерывную плавность дороги сменяют за Ируном стыки, тычки и толчки, под которым возвращенец по имени Тимотео, засы-

---

\* Какая красавица! (исп.)

пая мгновенно, начинает храпеть. Блаженство на гладком и чернеющем от щетины лице.

– Чему радуется? Работы нет, все там нищие, злые. Не знаю, как будем жить дома... У вас есть профессия?

– Переводчица, – отвечает она, за свою пятилетку в Москве проработавшая ровно неделю до того, как оказано было доверие – переводить Генерального секретаря.

– Не в Испании живете?

– В Норвегии.

– То-то девочка... Снег. А глаза наши. К родителям едете?

– К отцу.

На заре за окнами невероятная земля.

Желтая, красная.

Африка начинается за Пиренеями. Так сказал Теофиль Готье, и Монтерлан с ним всецело согласен – в купленном вместо путеводителя только что изданном *NRF* томике ранней прозы. *Coups de soleil* – «Удары солнца». Она получает свой первый...

Но выдерживая хроматические насилия, глаза начинают слезиться.

Горло сводит.

Сверкающие от бриолина их черные волосы зачесаны назад, белые рубашки, широченные брюки, руки в карманах по локоть – хулиганы с окраины, черт им не брат – а посреди двадцатилетний Висенте. Изломанный снимок с фигурным обрезом ей показал старичок, который явился с огромным альбомом и ко всем приставал, пока не нашел ветерана-одногодка. Сквозь толпу с их дивана доносилось:

– Август Тридцать Седьмого, Бельчите? А помнишь? До сих пор в военной академии преподают... А Теруэль? А Эбро? Все-таки мы воевали не хуже. Нет, не умением нас, а числом...

В полубункере-полудворце ожили призраки прошлого.

Они все здесь. Не только «Парижская группа», вернулись в Испанию и «москвичи». Охладевшие – как потомки Пасионарии, которая, сдержав обещание пережить Франко, уже превратилась в историю. Реэмигрировали и несгибаемые – сохранившие верность. Глаза их горят. Стоицизм побежденных, но не сдавшихся. После Мадрида, потом Бу-

дапешта, Праги, Варшавы, а теперь и Москвы: «Жить невозможно, земля под ногами дрожит. Либералы, демократы – не самое страшное. Голову поднимает утробный антикоммунизм. Клерикалы, генералы, «черные полковники»... Того и жди: «Над всей Россией безоблачное небо!» И что тогда?»

А в общем, и они в прекрасной форме. Держатся, выживают. Как природой положено... Испанцы.

Делегаты из Парижа и Рима шокированы тем, что все курят, как на подпольном партсобрании: «Не сходка же ведь...»

Изнуренная дымом, напористым сонмом и забытой давно уже ролью «черной овцы», она исчезает – навстречу очередному венку в коридоре:

– Инес, ты?

Нет.

Зовут Эсперанса.

Кафетерий обычный, отнюдь не стерильный, и даже что-то горячее можно, но то один, то другой посетитель вдруг начинал обливаться слезами, рыдать, убиваться, и соседи по столику обнимали его, утешая над прохладительными напитками.

Отщепенка, она сидела за кофе одна. С равнодушием к полости рта обожглась. Закурила, не чувствуя вкуса.левой рукой приоткрыла лежащий на соседнем сиденье **ABC**. Пустота над страницей. Абсурд. Изначальный, испанский – абсурднее не бывает, чем это наследство отцов. Вдруг превратившееся в абстракцию. И она в нем – абсолютно пустая. Как после аборта. Чистая функция машинального потребления кофеина и сигарет, что, увы, представляет опасность только для лишь мужчины, для хрупкого этого деревца из сосудов, изнутри разрушаемых гигантоманией.

*Эсперанса...*

Когда это было?

Коммунизм, назови меня *Амнезия*.

9 утра.

Мадрид. Чистота с легким запахом хлорки. Вокзал с французским названием *Chamartin* не по-парижски резонирует чувствами – то ли освобожденными, то ли не очень и подавляющими...

– Инес!

Перед ними в их джинсах и майках распахивает объятая какая-то яркая женщина – накрашенная и напудренная. Все сверкает на ней – ногти, кольца, браслеты и серьги. Пряный запах духов. Цветастое платье из синтетики сжимает огромные груди.

– *Tia? Tia Ana?*

– Повтори! Скажи мне еще.

– Что?

– Что-нибудь!

– Я очень рада...

– Еще?

– *Tia*, называй меня Эсперанса. *Понимаешь?* Это Анастасия. Отец ее не смог приехать.

Тиа промокает поплывшую краску:

– Акцент. Вот уж не ожидала... Маноло, какой?

Из-за плеча у нее возникает раскаленный булыжник лба:

– Мексиканский, сказал бы я...

Низкорослый, корявый силач отбирает чемодан, чтобы на площади уложить в багажник машины – огромной и старой, но ослепительной алой. Американской.

Сиденья нагреты солнцем. Подскакивая, Анастасия отвинчивает стекло.

– Сразу в Прадо? Гойю, Эль Греко смотреть? Нет? Тогда сразу домой! – говорит тиа, целый уик-энд протомившаяся в столичной гостинице. – Но сначала, Маноло, покажи им Мадрид.

– *¿ Puerta del Sol? ¿ Gran Via?*

– Сам лучше знаешь. А за городом найдешь ресторан. Не какой-нибудь только – смотри.

– Я знаю одно место...

– Приличное?

Эсперанса, она все представляла не так. Посреди авенид у нее возникает московская агарафобия. Но это, конечно же, Запад. Европа. Безусловно. Только здесь пальмы. Серо-каменные бастионы первой, предтоталитарной трети века под ярким солнцем вызывают щемящее чувство – как смотришь на старых слонов.

На боках идет война лозунгов.

Один впечатляет. Кто-то не поленился замазать и тех, и других – и пять перекрещенных стрел *¡ Viva Franco!* и

звезду КПИ. А поверх распылил автокраской, что *Да здравствую я:*

*i Viva YO*

Даже не столько Санчо Панса (не говоря об оторванном от реальности Дон-Кихоте), сколько бесконечно избирательный в технике выживания сирота Ласарильо из анонимной плутовской книжки XVI века был его любимым образом. *Ласарильо с Тормеса*. Мальчик, который, таща за собой слепого садиста, не унывая, уворачивается от палочных ударов судьбы. Об этом она почему-то вдруг вспомнила, когда, по крику Анастасии: «В Испании у них пять ног!» машина, которую почти даром отдал Маноло американец с военной базы, затормозила в пыли у обочины, и они с теткой под палящим солнцем повели усаживать белого, как снег, и очугуневшего от жары и обеда ребенка на абсолютно отрешенного ослика, который в послеполуденной медитации даже не двигал ушами, только спустил до земли невероятный черный член...

Поле выжжено добела.

Посреди одинокое дерево.

На горизонте то ли море, то ли дымит производство.

Андалузия начинается после заката.

Ночь.

Замок на вершине.

Призрачный город-гора, озаренный местами неонам. Дом Маноло у подножья, где пахнет апельсиновым цветением. Внутри бегают дети, как днем. Под люстрой (в виде древнего колеса от телеги) стол накрыт. Помидоры, лук, оливковое масло с винным уксусом. Чеснок. И «гарбансос»\*. Базовый продукт, на котором страна продержалась до лучших времен. И здесь, и в изгнании – то же самое. Все знакомо. «Чорисо» – до отказа начиненные холестерином колбаски с толченым красным перцем, до которых он дорывался в то время уже только от матери исподтишка. *Jamon* – винно-красный окорок от свиньи, туша которой годами висела на солнце вниз головой. Чем тоньше, тем на вкус адекватней: так, преследуя в Спутнике доступный в ощущениях испанидад, Александр поломал все ножи, включая хозяйский садовый...

---

\* Род бобовых.



«Сервеса» – это пиво.

Оно утоляет, но в мозги отдается от буйства детей. Статная женщина в сарафане неистошима в безмятежном радушии. Шофер взрывчато откупоривает банки.

Золотым пером тетка выписывает претенциозного вида чек.

Мост через пропасть, и в аромате жасмина машина поднимается в старую часть – до каменной лестницы, над которой призрачный мрамор, монументальная пропаганда:

## ИСПАНИЯ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОММУНИЗМА...

Впереди шофер несет чемодан. Между белых стен улица, вся в перепадах, поднимается в гору. Площадь со слышным фонтаном и аркадой вокруг.

Тетка живет еще выше.

Переулок над головой весь в распорках – чтобы дома не сомкнулись.

Замок в вырезе неба.

Решетки на окнах оплетает листва.

За порогом квартиры на третьем этаже прохладный и гладкий пол в узорах из плиток. Тетка, тоже босая, включает свет, открывает ставни и дверь на террасу, где, уложив Анастасию, они садятся, отпадают в плетеные кресла. Целый сад...

– Очень он старый?

– Крепкий, как дуб. Полон энергии.

– Богатый?

– Тиа, он коммунист.

– Неужели все бедные?

– Нет. Но он *настоящий*. Понимаешь? Для себя ничего, все для дела.

– Дом во Франции есть?

– Откуда...

– А квартира своя?

– Социальная.

– Но известный ведь? Мир повидал? А меня только в городе знают. Дальше Барселоны нигде не была...

Тиа встает, предупредив на прощанье, что цветное белье на террасе выгорает на солнце за час:

– *iSolamente blanco!*

Цикады. Тишина. Верхушки пальм среди крыш отливают серебром. В доме напротив вспыхивает свет, на мгновение озаряя сквозь цветы за решеткой наготу.

Она отворачивается – *Эсперанса*.

Книги. Комплект классики – вряд ли для чтения. Мебель темного, почти черного дерева. Очень чисто, не очень уютно. Но после бетонной квартиры в предместье Парижа потолки с балками впечатляют. На стене под стеклом римлянин в тоге. Нет, не Цезарь. Первый испанский писатель, он же философ Сенека. Учитель безумца Нерона. Но не только его одного. *Из школы Сенеки мы все – и ты тоже. Он научил нас, испанцев, стоицизму. Что это? Быть независимым. Любить не себя, а судьбу. Следовать ей и держаться. Понимаешь? Смерти у нас не отнимешь, а в жизни мы вынесем все.*

Первоиспанец заложил и традицию лысин, наверно. Почему столько лысых? Но не все.

Не отец.

Самые вирильные в мире, утверждает Монтерлан, которого она открывает в постели, пропахшей лавандой. Самые яростные. *Ягуары*. Не без этого, но как-то не вдохновляет. Глаза скользят по французской риторике. Самый поздний текст в книге датирован 1936-м. «*Бесчеловечность испанского ада*»? Другие давно превзошли. *Народ в Испании безумен, как в России*. Этими параллелями она занималась еще до того, как безумия их вцепились друг в друга, как ягуары, слились в невозможный симбиоз.

Она поднимается и выходит наружу. Где он сейчас, Александр? Неизвестно, но можно представить. А он не сможет – при всем своем воображении. Даже не подозревает, что она может быть здесь. *Инкогнито*.

Изнурительно пахнет жасмин.

Полнолуние.

Замок.

Вырастая из скалы, он в серебряном свете парит.

Она мысленно произносит по-русски:

*Воздушный*.

А по-французски, опять же испанский. *Chateau d'Espagne*. Нечто безумное, нечто не сбывающееся никогда. Зубцы превращают мощное и филигранное тело башни в фигуру из шахмат. Черную с лунным отливом.словно бы

ищушую в этой ночи игрока. Чтобы продолжить бесконечную партию. *Вива я* – против сущего. *Вива я* – против данности. Против реальности вашего мира...

От усталости сигарета горчит.

Глядя на замок, Эсперанса с прищуром затягивается.

У сестры отца сильные гладкие плечи и прямая спина. Запудривая экзему, она бросает взгляд в зеркало:

– Прости, я сказала...

– Что, тиа?

– Что ты из Москвы.

– *Тиа!*..

– Не волнуйся. Все здесь свои.

На террасе служанка работает шлангом.

Раннее утро.

Солнце обжигает.

Капают из цветочных горшков, которые тут даже на стенах.

Рот Анастасии открывается. Навстречу ожившая кукла, губы накрашены, лакированные ногти. Девочка в мантилье – черно-фиолетовой и прикрепленной гребнем к завитым волосам. Головка гордо поднята.

Кафе на углу.

Хозяин выходит отодвинуть им легкие кресла. «Чуррос» – колбаски из теста, которые он достает из кипящего масла и посыпает сахарной пудрой. Кофе крепчайший, его запивают водой.

Тетка закуривает сигарку.

– Как же могла бы я скрыть? Твоего отца город помнит. Все знают, что *rajo*.

*Красный.*

Это ошеломляет...

– Успокойся. Крови на нем нет.

Она расширяет глаза:

– Какой крови?

– Тут при красных такая сангрия была... Ты что, не знаешь?

Потом, в Париже, она нашла книгу с фотоснимком. Мощи кармелиток, которых в 36-м в Барселоне выкопали, вытащили из гробов, сорвали остатки саванов и приставили к стенам, а других положили на ступени монастыря.

Обтянутые кожей скелеты. Скрестившие руки, нагие, – с высохшими грудями, остатками пубисов и следами глумления. Включая младенца и девочку, их было четырнадцать на снимке, который в свое время потряс цивилизованный мир, а ее – с опозданием. В тот первый приезд на родину отцов она, Эсперанса, знала лишь часть. Про белое зверство во время войны – особенно марокканцев. Про бело-фашистский террор. Против побежденных, но не сдавшихся. Которые были герои. То, о чем говорилось в сфере слышимости, во Франции подтверждали учебники в школе и вполне беспартийные книги. Разве что Хемингуэй вносил диссонанс. Но в скандальном романе исторически он был неправ, иронизируя над Пасионарией, якобы прятавшей сына в Москве от гражданской войны: ведь Рубен ее пал смертью храбрых под Сталинградом. И к тому же Хемингуэй был американец – что с них взять? Однажды в одном французском «шато», на традиционном обеде братских партий, всемогущей и подпольной, туда, где были дети и верхняя одежда, втащили под руки и уронили вниз лицом одного ветерана. Это был гость из соцстраны – легендарный *El General*. Потом мать сказала: «*Carnicero...*» С отвращением. А он, он зацокал языком, обостряя любознательность. *Мясник?* Дитя эмигрантов артикулировало: «*Et pourgoi?*» Ей ответили немотой замешательства. Потому что герой был не просто ягуар от природы. Он любил убивать. Слабость вполне человеческая...

– Другие, – тиа сказала, – те по горло в крови. А он не запачкался. Было б иначе, меня бы потом расстреляли. Он даже наших «мариконов» спас. Целый грузовик их набрали и везли на расстрел.

– Он кончил войну в чине *comandante*.

– Разве?

– Армии республиканцев.

– Это не знаю и как. Бой быков, например, ненавидел. Даже от петушиных тошнило. Нет, крови он с детства боялся. Мать говорила, что в церкви падал в обморок. Еще кофе? Тогда идем, нас друзья заждались...

В кафе под аркадой накурено – не продохнуть.

Друзей – человек пятьдесят. Они хотят знать правду. Немедленно, всю, как есть. Из первых уст. Глаза, лица

сверкают заранее. В застекленной рамке за стойкой выгорел номер газеты с портретом на черном: **FRANCO HA MUERTO\***.

Хозяин беззвучивает телевизор.

Говорит Эсперанса.

Стойка, столы покрываются бутылками, банками, тарелками – оливки с вынутыми косточками, где анчоус, миндаль или красный перец. Креветки. Жареные кальмары. Некоторые аборигены знают лучше: «Там для рабочих футбол бесплатный!» Страсти не подавляются, рвутся наружу, атакуют. В самовыражении здесь идут без оглядки и до конца, и вот в этом она себя вдруг узнает. *Испанка?* Хозяин приносит горячее блюдо. «Косидо» – белая фасоль с мясом. Тетка довольна. Племянница – интеллектуалка. Хозяин – тоже. «Эта девочка здесь будет есть бесплатно!» Здесь все бросается на пол – шкурки и палочки от «чорисо», обертки от сахара, окурки и даже истаивающие кубики льда. Но эта девочка не решается, держит оливковую косточку в пальцах. Из дальнего угла несется посетитель, подставляя блюдце:

– Откуда такой ребенок?

– Москва.

– ¿ *Union Sovietica?* Игнасио, всем по пиву... Вот так воспитывают там детей! Пусть говорят мне, что угодно, но вот вам живое свидетельство...

В спорах за спиной ее уже называют *rusa*.

Вдохнуть до конца невозможно даже в тени. Зной давит на плечи.

Тетка, перед сиестой:

– Я думала, ты тоже *roja\*\**.

– После Москвы?

Смеется:

– Я боялась...

– Но я и не *blanca\*\*\**.

– Анархистка?

– Не знаю. Я просто человек. *Viva yo*.

Тетка смеется.

– Уже научилась у нас? *iViva yo!*

---

\* Франко умер (исп.)

\*\* Красная (исп.)

\*\*\* Белая (исп.)

Анастасия испаряется во сне. На простыне вокруг нее, бело-розовой, пятно пота. Зубы ярко-оранжевые от испанских красителей переходного периода. Но куда? Вправо, влево?

Это было еще неизвестно.

На монетах еще каудильо, без которого страна живет всего семь месяцев.

Ровно столько же остается до легализации призванным на престол бурбонским королем Хуаном Карлосом I той партии, которой отдал себя без остатка человек, уже сутки в Мадриде открытый для прощания – за стеклом, под венками, в гробу, позволяющем видеть лицо.

Сверхбанально...

Чашу терпения переполнила капля.

Год был осуществлений – пятый их вместе. Они добились права жить в Москве. Авторские экземпляры первой книжки (самоцензура изошрилась так, что государственной осталось вычеркнуть лишь пару слов) пачками громоздились в углу новой квартиры. Неважно, что на порядок ниже, чем «красный пояс» парижской аскезы – но вот линолеум в этой квартире все не отмывался. В энтузиазме новоселья (с видом на музей Вооруженных Сил) она меняла воду, ползала и терла. Осколок водочной бутылки на кончике пальца был почти невидим, но капля появилась.

Алая.

Через день палец стал нарывать.

Потом почернел. За иностранку районная поликлиника брать ответственность отказалась. С паспортом, согласно которому она проживала в Амстердаме, в московскую поликлинику для полноценных иностранцев лучше было не рисковать. Кремлевская же, где обслуживали во время приездов с отцом, закрывалась для нее как для живущей отныне постоянно. Рука по локоть стала отниматься. В стране бесплатного медицинского обслуживания у нее набухли лимфатические узлы, когда он снял трубку и набрал оставленный «падре» номер на случай, если с ним что-нибудь...

«Разве она еще здесь?» – без удовольствия удивился голос, оторванный от большой кремлевской стратегии.

«Да, и рискует навсегда остаться».

«Что с ней?»

Чувствуя себя невыразимо, Александр ответил:

«Наколола палец».  
«Какой?»  
«Средний. На правой руке...»  
Старая площадь хохотнула:  
«Спящая красавица?»  
«Наоборот».  
«Не понял?»  
«Умирает».

Немаловажный тот палец и жизнь заодно спасли ей на высшем уровне.

На том же, на котором, если не санкционировали, то допускали кокон паранойи, который лениво, но непрерывно плелся вокруг них – подслушивания, перлюстрации, бюрократическая волокита, милицейские вызовы и вторжения, даже по местным стандартам искусственная затрудненность быта и эти друзья-приятели – чередой своих в доску стукачей, сексотов, мелких провокаторов с их авангардом, крестами, иконами: «Знаешь, сколько по каталогу Сотбис? Пусть возьмет, что ей стоит. Сдаст, будет богатой. А мне нечего, ну там разве *Deep throat...*»

Сфера их обитания. Рай в шалаше. Любовное гнездышко. То, внутри чего они наивно пытались что-то построить...

Звонок – перед самым отъездом.

Положив трубку, она опустила на колени – одевать Анастасию.

– Прогуляемся...

– На ночь глядя?

Гольный сад.

Оглядываясь на редкий транспорт, припаркованный по сторонам бульвара, они вошли за чугунную ограду и захрустели снегом ранней весны. Ту московскую интонацию она уже не способна воспроизвести:

– *Товарищи.*

– На предмет?

– Машину присылают.

– Но такси ведь заказано?

– Говорят, и речи быть не может. Проводят по высшему разряду. Через *депутатский* зал.

– А чем отличается?

– Нет досмотра.

---

\* «Глубокое горло» (англ.)

Внезапно с криком: «Солнышко!» Анастасия бросилась прямо через ледяную клумбу – протягивая руки к всплывшей над Москвой полной луне. Инес поймала ее уже на самом краю – перед троллейбусом. Еще трех ей не было, а озверела дочь так, что зубами вцепилась в руку и орала, волочась, пока ей не погрозил поддавший прохожий:

– Эт-то солнышко цыганское.

Инес набивала чемодан плюшевыми собаками, когда он вошел с туго завязанной папкой:

– Раз без досмотра?

Она не взяла. Надавила коленом, защелкнула.

Он возмутился:

– Но почему? Если шанс?

Из сортира она крикнула:

– Принеси мне блокнот и чем писать. – И потом: – Не стой здесь, у меня сроч!

В этих стенах больше ни слова. Только переписывались, а на рассвете все кремировали на чугунной сковородке.

В тумане поджидал катафалк.

Водитель был в шапке детского размера, но не разновидности – из черного каракуля с кожаным верхом. При переразвитом плечевом поясе был он почти что микроцефал.

Даже Анастасия молчала.

На сиденье он нашел влажную руку Инес.

Проступило здание международного аэропорта Шереметьево.

– Ждать?

*А после прямо на площадь Дзержинского!*

– Спасибо, не надо...

Она открыла стекло двери, он вкатил Анастасию на красную дорожку. Русская красавица в форме Аэрофлота, которая радовалась им от лестницы, сохранила улыбку:

– Залом не ошиблись, молодые люди? Депутатский.

– Тогда нет.

Извинившись, узнав имя, служащая пробежала список накладными ресницами, вернулась к началу и по второму разу вела лакированным ногтем.

– Сожалею, но... Вас здесь нет!

Глаза Инес засияли. Она выиграла. И пари, и, возможно, свободу...

Выкатившись в туман, Александр сказал:



– Мир ловил меня и не поймал?

– Почему, знаешь?

– Везет.

– *Школа*, – ответила гордо она. – Школа Висенте...

Очередь в общем зале исчезала за перегородкой стремительно. Посадка заканчивалась.

– Паспорт?

– Я не лечу. Качу...

Его отстранил шлагбаум руки, под которой он передал Инес ручки креслица с дочерью, а потом чемодан. С одними игрушками.

После досмотра она, *Зоркий Сокол*, обернулась с галереи, но искать в толпе не было времени, и он навсегда запомнил это ее выражение – усилия под тяжестью и легкой досады.

Пил он коньяк.

Из кофейной чашки, а бутылку держал за пазухой. Чопорные стюардессы «Люфтганзы» за столиком сменились сразу тремя японцами, механиками в дутых безрукавках. Увидев, как он наливает себе из-под пальто, они умолкли, потом дружно пересели, и больше за его столик не садился никто. Он посмотрел на часы. Воздушное пространство СССР было уже покинуто, а он все сидел – боком к столу. Подошвы упирались в ребристый радиатор, который грел ноги над носками, а он экономно отпивал, стряхивая пепел в блюдце и медленно пьянел. К стеклу перед ним подъезжали и отъезжали, брызгая грязью, машины, потом вдруг проступила даль полей, с которых снег еще не сошел. Уже была совершена посадка в парижском аэропорту Руасси, а он, бутылку закатив под радиатор, никак не мог заставить себя подняться.

Кроме е...х рукописей и тех, кто ими интересовался, в стране не ожидало ничего.

Именно в тот момент в бетонном желобе парижской кольцевой дороги Висенте завел руку за спину сиденья и похлопал по колену дочери, которая уже сбросила удушливую шубку:

– *Bonita...*

Та выдула пузырь жевательной резинки. Излучая профессиональный оптимизм, он взглянул на Инес:

– Что же, культурную миссию ты, по-моему, выполнила. Надеюсь, навсегда?

– Он тебя любит.  
В его улыбке появилось нечто хищное.  
– Не меня. Идею отца, без которого родился. Помочь я тут ничем не смогу. И никто.

– Но тебе же только бровь приподнять?

Он повысил голос:

– Тем более в данном контексте. Сами породили своих диссидентов, сами пусть разбираются. Мы ни при чем, вы с ней тоже.

Она заставила себя улыбнуться:

– *Муж и жена – одна сатана.*

– Не впадай в мистицизм.

– Я не впадаю. Там поговорка такая.

Он отвернулся.

– У меня впечатление деградации. А могло быть иначе...

В зеркальце заднего обзора Гомес выстрелил взглядом, полным укора.

С выгиба бетонных стен эстакады разноцветных граффити влетали прямо в сознание, возвращая «черную овцу» на Запад – в мир «лево-правой» шизофрении...

«Сангрия», в данном случае, просто красное вино, ломтики фруктов и позвякивание льда, когда тиа, добавляя серебряным ковшиком, рассказывает под портретом Себеки:

– Белые нас сразу же арестовали. Еще был старший брат, не знаешь? Умер. Анархистом был: «Власть развращает». Не выдержал тюрьмы.

– А ты?

– Красота спасла. Знаешь, какая я была? Когда шла в церковь, мужчины на колени падали и шляпу мне к ногам. В тюрьме не я, из-за меня ломались. Волосы были такие, что надзирательницы – монашки – сами мне вычесывали гниды. Хуже стало, когда освободили. В городе со мной не здоровался никто. Человек-невидимка. Пустое место. Твой отец оставил два адреса – лучшего друга и одного врача. Друг отвернулся, а *medico* сделал нехорошее предложение. Коммунисты оказались *sin cojones*\*. Вот белый один, тот был мужчина. Молодой офицер. Ничего у нас не было. Это

---

\* Без яиц (исп.)

было тогда невозможно, — и тиа делает отступление на темы эксцессов теократии, победившей в отдельно взятой Испании: прекрасному полу на людях запрещалось, и не только под страхом быть названной *puta*\*, но едва ли не под угрозой полиции, все — велосипеды, штаны, ноги без чулков, кружевная прозрачность, платье до колена, платье в обтяжку и даже с короткими рукавами. Так что с офицером они только прогулялись по площади — вечерние пасио, знаешь? Его вызвали: «Она — сестра красного». А он им: «Не отрекись от любви». Его отослали на север. Потом голод. Мать умерла. Самое ценное, что оставалось, это пишущая машинка твоего отца. Пришлось продать, чтобы похоронить по-человечески. За гробом только священник и я. Люди смотрели из-за занавесок. Но потом меня пригласила жена известного банкира. А ты, говорит, осанки в горе не теряешь. Уважение. Это у нас открывает и души, и двери. В конечном счете, важно не какой ты партии, а какой ты человек — твой стержень. Этот банкир, он уже был старичок, помог устроиться в сберкассе. Работала, откладывала деньги. На учебу — хотела стать архитектором. Но банкир другому научил. Он потерял зрение. Я ему читала вслух, а он учил меня делать деньги. Как играть на бирже, куда лучше вкладывать, что покупать. Потом мне повезло. На моих землях откопали древнеримские развалины. Все продала и вложила в недвижимость. Вот мое экономическое чудо. Мультимиллионерша в песетах. За спиной называют *нувориша*, но, как ты видишь, все здороваются. Донна Ана зовут...

Изголовье кровати у нее с овальной рамой, из которой выпирает набивка — голову упирать.

Рядом — вибромассер, револьвер. Задвигая ящичек, тиа усмехается: «На всякий случай. Друг из Парижа привез...»

На следующий вечер она надевает жемчуга, вбивает ноги в черные туфли.

Клуб, где встречаются отцы города. Еще одна дискуссия в дыму. Фантазмы другие, но столь же яростные.

Перед уходом старик:

— Я очень богатый человек. Знаешь, *old money*\*\*? Реак-

---

\* В... (исп.)

\*\* «Старые деньги» (исп.)

ционер и антикоммунист. Но отцу передай, что, как врага, я его уважал.

Крутолобый и с сигарой.

– За что?

Он обиделся:

– У нас была вера. Вам, молодым, не понять...

Утром в воскресенье тиа осторожно:

– Если бы согласилась пойти со мной в церковь, это было бы как знак уважения.

Единственное место, где не жарко.

Ладан.

Полумрак и шепот:

– Пришла... в церковь пришла...

Это – событие. Их с теткой обступают. Дочь красного вернулась в лоно.

Священник ее возраста, работая кулаком, два часа говорит с амвона, что, если к власти придут левые, человека мы им не отдадим. Мы будем защищаться. Ибо без церкви, без христианского воспитания детей, в этой стране все рухнет. Андалузия – это оплот. Бастион.

Прихожане внимают.

Все эти дни в кафе карманы комбинезона Анастасии мужчины набивают монетами для «флиппера». Она разгружается, раздавая пожертвования и, шевеля губами, ставит свечки.

Над ней испанский гиперреализм. Безутешная Божия Матерь, распятый Христос. Они, как живые.

Кровь тоже.

Ночь.

Ледяной «гаспаччо».

Чеснока столько, что одним выдохом отпугиваешь вампиров.

Тиа зажигает сигарку «Давидофф» и укладывает на кожаный пуф свои ноги со ступнями, выдающими происхождение:

– Анна Австрийская? Точно не знаю, но какая-то королева, которая недолго пробыла в Мадриде замужем, привела свой полк – то ли немцы, то ли швейцарцы. В наших местах растворились. Бабушка твоя была очень высокая. И глаза голубые. Очень жесткая. Но и время такое. Ненави-

сти было уже очень много. Вскипали мгновенно. Чуть что, за наваху. Когда отца зарезали, Висенте шести еще не было. Определили его к свинопасу: Маленький был, но обид не прощал. Раз попросил напиток, крестьянин не дал. Почему? Потому что из одного кувшина отопьешь, баланс нарушен: осел в горах тебе всю воду расплескает. А потом он попал под грозу. В горах это страшно, крестьяне боятся. Стал стучаться под крышу, где Висенте со свиньями. Тот не пустил. Это сразу отметили – мальчик с характером. Сирота – он у всех на виду. Научился играть на кларнете и в город ушел. А играл он так, что сразу взяли в муниципальный оркестр на зарплату, и он нас вытащил за собой. Закончил техническую школу, стал механиком. Бедный, худой был, но гордый. Знаешь наших? «Лучше дырка в штанах, чем заплатка». А в школе преподавал социалист, любимый стал учитель. Уговаривал продолжать учебу, ехать в Мадрид, в университет. А потом... Ровно сорок лет назад, и жара, как сейчас. Вдруг все взорвалось. Мятеж. Расстрелы пошли. Монахинь, священников, жандармов – Гражданскую гвардию. Даже нотариуса. Учителя тоже. Перед той школой и расстреляли. А они тогда город держали от марокканцев. Кто до вечера доживал, ночевать возвращался. Мать зарезала петуха, но когда он пришел и узнал, есть не смог, прорыдал до рассвета. Думали – все. Отречется. Но утром он снова – винтовку на плечо и ушел. Высоту они взять не могли, всех убивали. Он гранаты схватил и в атаку. Кто поднялся за ним справа-слева, тех обоих убило сразу, он весь в крови вернулся, мы подумали – ранен. Ночь не спал, все рвало.

– А высоту?

– Взял. Но мятежники выбили их. И он ушел с красными – к центру туда, на Мадрид. Мы знали, что он навсегда. Отсюда кто уходил, больше не возвращался. Даже из Америки. Он первый вернулся. В твоём лице, я имею в виду...

Напротив гаснет окно, на стене, на узоре решетки и листьях свет луны. Возникает силуэт, и она отворачивается. Несмотря на предосторожности, ставни лязгают.

Тетка вздыхает.

– *Амор...*\* Из-за этого все.

– Почему?

---

\* Любовь (исп.)

– А по-твоему, это не важно?

– *Это?* По-моему, *все*.

– А нам запрещали. Даже фильм посмотреть – ну, ты знаешь... Мужчины во Францию ездили – в Перпиньян. И это недавно еще. А когда мы росли – просто ужас. Ребята сходили с ума. Я их помню, друзей-бунтарей. Вокруг проституток кругами ходили, а денег ни у кого. Чтобы за так, не ахти уж какие красавцы. В кулак и на землю? Слишком гордые были. Тем более матери с детства вбивали, что от этого в наших краях дурачки... Выхода не было. Только столбы повалить. Электрические. Вышли однажды за город, и все посрубали. Это первое действие. К счастью, кончилось неудачей. Вернулись – свет всюду горит.

Не в силах вынести напора эмоций при виде ее отца, пара интеллектуалов из Саламанки разрыдалась и, повернув от стекла, схватилась за Инес:

– Ведь они говорили! – захлебнулась женщина, сжав ей руку под траурной повязкой, – они нам говорили... *Сначала тяжелая индустрия, потом легкая, а там...* А сейчас, выходит, и тяжелой нет?

Муж ее крепился, но по лицу катились слезы:

– Почему, ну, почему все у них рухнуло?

Нашептывая, что вопрос не по адресу, обоих увели – небедных, чистеньких, такой пастелевый «унисекс» – и как ослепших с горя...

Это был второй ее день на ногах.

Пара с ребенком из индустриальной Овьеды попросила разрешения накрыть его флагом – под предлогом, что молодая мамаша всю ночь обшивала кумач. Им сказали – *на кладбище*. Там хоть зеленым. Но, дождавшись ночи в своем старом «сеате», они вернулись: «Родственники разрешили». Пожав плечами на эти фантазии, служащий их провел коридором и открыл заднюю дверь. Протиснувшись под венками, они накрыли – в четыре руки. И удалились, повторяя, возможно, *вива мы...*

Снять назавтра сюрприз уже было нельзя – по понятным причинам.

Так флаг и остался на виду до конца.

Любовник тетки – он молод, низколоб, стыдлив («Неужели мой последний?») – привозит их к замку и остается с открытыми дверцами в тени.

С крепостных стен кое-где обвисает кустарник – прос...

В жарком поту они выбираютя на площадку.

Аист взлетает.

С башни тиа показывает:

– Видишь, горы? Там он с дудочкой бегал.

Вид в проеме каменных зубцов кружит голову. Черточка кипарисов в долинах, дороги слепят белизной. Поля там лиловые, винные, красные. Гигантские плавные склоны. Поднимаясь и опускаясь, их опоясывают полосы линий, штришков... Это оливки. Деревья. Плантации. За ними лишайники роц добираются к самым вершинам. За перевалами все повторяется – тоном нежней. А под самым горизонтом проступают на голубом пятна скалистых уступов.

Горы.

Ему не давало покоя, что другой пастух стал поэтом. Конечно, говорил он, как бы оправдываясь, у Эрнандеса были овцы, с ними забот никаких. Собаки делают всю работу, а ты сидишь, наполняешься чувством величия мира. А попробуй со стадом свиней. Эти расслабиться не дают. Индивидуалисты. Каждая – себе на уме. Только и думают, что разбежаться. Нет. Я был предопределен...

– Красиво.

– Ты находишь? Не знаю... Я другого не видела. А за теми горами деревня, откуда твой род. Черепица и белые стены. А пол земляной. *Биенвенида*. Запомни.

– Так называется?

– Да.

*Добро пожаловать?* Вряд ли. Чужаков не любили. Скорее – *прибывший благополучно*. Так говорят, когда разрешаются от бремени.

Филигранность зубцов внутри башни обманчива. Она трогает выбоину и, обжегшись, отдергивает ладонь:

– *Тиа...*

– Что? Говори.

– Ты могла бы оформить бумагу? Чтобы он смог приехать. *Приглашение*.

– А уже не опасно?

– Нет, говорит Эсперанса. – Не отцу...

Однажды в Париже, на фоне скандала с романом Александра, который вышел в ее переводе, они вдруг увиде-

ли его по телевизору. Это было в вечерней программе новостей – про попытку военного путча в кортесах, где в последний раз в жизни, уже в качестве вице-президента, он смотрел в наведенное генералом оружие, а они все это пассивно созерцали по телевизору, и ночью, и на следующий день, и от повторов он все больше становился похожим на льва.

По китайскому гороскопу, впрочем, Тигр. Мятежный характер. Страстный и воодушевленный. Революционеры, политики, государственные деятели. Симон Боливар, Эйзенхауэр, Шарль де Голль, Хо Ши Мин и королева Елизавета II.

С циничной, все подвергающей сомнению и критике, но, по определению, верной Собакой – идеальный союз. Никаких затруднений во взаимопонимании. Возможность успеха и процветания.

Но досталась Свинья...

Жизнь спустя она смотрит в зеркало.

Нос, в котором ему видится нечто индейское. Стрижка, волосы крашены. Оливковый оттенок кожи. После кладбища веки окрашены измождением. Большие глаза, всегда влажные. Смутный ритм отдается в порах лица. Она смотрит – уходит внутрь себя, в тот невидимый мягкий порядок, где всего больше жизни, которая, так она чувствует, исчезнет только с ней вместе. Уже не столь бурной, зато утончившейся, томной, тонкой и более требовательной.

Мужчина, он ясен и прост. Взгляда мельком достаточно, чтобы понять. В зеркало он не смотрит и не видит себя, даже бреясь. В поисках себя он заглядывает в женщину и не находит: «Нет, не я...» А женщина смотрит и видит – простого, себе непонятного. Это становится скучно. Несмотря на попытку возместить – дом, деньги и член. Но она все надеется, женщина – это надежда. Что однажды он увидит себя, опознает, вернет, возродит изнутри свою сложность – и станет на равных с ней. В общем, верит в любовь... Но мужчина боится. Именно этого – больше всего. И ему, затвердевшему в упрямой своей замороженности, остается только обрушиваться на живое и мягкое, выбирая короткий, как искра, оргазм. И отваливается с недоумением в стекленеющих глазах: это все? Все – ради этого? Или тер-



петь. Ждать, когда, доведенная до отчаяния, женщина откроется перед ним в своей сложности и пригласит на волю мир, который так страшно ему отпускать. Вот почему они так боятся приближения смерти. Они чувствуют – *несправедливо*. Обман! Невозможно, чтобы конец – ведь еще ничего и не начиналось. Отделяваясь от жути, он отстаивает свою неизменность, принципиальную неизменяемость. Он тоскует по юности, он переходит в атаку – *жизнь – арена, где сражаются гладиаторы* – отвоевывает возмещения больше и больше – вроде трибуны над морем подобных себе. Из страха стать сложным он хотел быть огромным, больше всех – почему бы еще своей собственной партии не Генеральным секретарем?

Так она думает. Или чувствует. Или просто лишь наполняется перед дорогой – изнутри.

Зеркало отражает ворох непрочитанной прессы.

*ABC, La Vanguardia, El Independiente, El Sol...* Есть еще время, она перелистывает, отбрасывая страницы с Бушем, Горбачевым и Ельциным, задерживается на последнем его объятии с Пасионарией, две сомкнувшиеся седины, задерживается на заголовках вроде: *ЖИЗНЬ, ОЗАРЕННАЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ... ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММУНИСТ ВЧЕРА УМЕР В МАДРИДЕ...* Выхватывая фразы типа: «...Его убеждения были прочны, неизменны и окончательны».

Она забирает все это с собой.

Паспорт уже настоящий, но и в этот приезд поразило, что никто здесь не сомневается в ее принадлежности, полноточности, *испанидаде* – только она сама. К счастью, прочий мир ей открыт.

– *Todos los del mundo.*\*

Бетонный дворец под окном тонет в сумерках – с юными пиниями и кипарисами.

Такси у порога ждет, сложив флажок.

Аэропорт.

Сердце страны отцов остается сверкать в ночи, а она, оторвавшись и повиснув в воздухе, закрывает глаза, чтобы увидеть, как однажды девочкой в «красном поясе» собрала за спиной у него все носки, от которых он отдели-

---

\* Все страны мира (исп.)

вался, забывая под стеллажи, под железную койку, в пленку для бумаг – куда попало. Выстирав мылом в раковине, она повесила ими в квартире все радиаторы, а он ничего не заметил, окутанный дымом своих «голуазов» над тем, что вымучивал для *Mundo obrero*, что, если он попадетсЯ им в лапы, забьют ему в глотку со всем, что он написал против них. Но он сумел не попастьсЯ. ВозвращалсЯ оттуда – *изнутри*. Каждый раз. И снова, поворачиваясЯ от окна, выходящего на изнанку бетонной стены с кипарисом, она видит, и уже не сквозь муть, а так четко, что горло сжимает, видит изрубленного морщинами подростка, совсем мальчика, он снимок совал ей, где обнимались ребята постарше, и среди них был его *comandante*, а теперь, оглянувшись и ее не заметив, выпрямляется перед тем, что остается еще за стеклом и поспешно простроченным флагом, и с трудом, через артрит, приподнимает с рукавом синтетической курточки и застиранной манжетой рубашки внезапно большой узловатый кулак:

– Товарищ... Держись!

## **ЗАРАНЕЕ ПИШИТЕ СВОЙ РОМАН**

На конечной я выскочил из метро, втянул голову в плечи и поднял воротник.

За Сеной зажигал свои огни нью-йоркский мираж. Небоскребы Дефанс начинали предпоследнюю трудовую неделю перед Рождеством. Я сбавил темп, чтобы закурить. Первая сигарета этого дня оказалась последней в пачке, которую я смял и бросил под забор. Он был оклеен огромными афишами летнего сезона. Мимо невероятных островов с пальмами и ласковым прибоем (но проступающим рельефом досок) косо летел снег, редкий и мокрый, и, затаившись на ходу, я укрыл свой «голуаз» в рукав.

Огибая островок, вверх по течению уходила баржа. ЗатягиваясЯ из рукава, я провожал ее взглядом. *Loin, plus loin...*\* во мглу, вполне селиновскую – но только что рассветную.

---

\* Дальше, все дальше... (фр.)

Удар воды обдал меня с головы до ног. Я бросился за огнями «мерседеса».

– Сволочь!

Но ни булыжника, орудия пролетариата, ни бутылки, ни даже свидетеля для солидарности. Мост в обе стороны пуст. Я отбросил сигарету за парапет, утерся и побежал, наблюдая, как неохотно растут навстречу небоскребы.

Вниз по лестнице и по набережной.

Мой небоскреб в Курбевау, местный филиал американской фирмы, светил сквозь мглу люминисцентным светом. Я скользнул по газону. Ворота подземного гаража уже опущены. Стоя у гофрированной жести, я причесался и стряхнул расческу. К счастью, опоздал я не один. Ворота поднялись перед съехавшей машиной и, фыркая на выхлопы, я вбежал следом в подземелье. Мимо запаркованных машин я устремился в дальний угол, где над стальной дверью горела красная лампочка за проволочным абажуром.

Я лязгнул и прищурился.

Бригадир, уже весь в белом, причесывался перед зеркалом, прицепленным к стояку металлического стеллажа. Иссиня-черные волосы сияли. Зеркало было в алой пластмассовой рамке, и он взглянул на меня оттуда, мрачный и красивый. Я хлопнул по крутому плечу:

– Салют, Мигель.

Он свел брови.

– Опаздываешь, Алехандро.

Васко на это мне подмигнул. Он стоял в проходе, сжимая железо реек и щурясь от дыма свисающей сигареты – «данхилла», не какой-нибудь. В следующем проходе, складывая брюки, посвистывал Али, высокий и женственный, а старик Мустафа в углу на корточках, распространяя аромат бензина, уже оживлял свои кисти.

В моем отсеке одежда была сложена на нижней полке – перед рядами папок, в которые я уже сунул нос. Есть в этом мире одно ведомство, которое отвалило бы миллионы, чтобы ознакомиться с их содержанием. С чувством удовлетворения я снял купленную на Марше-О-Пюс солдатскую куртку и натянул на свитер белую спецовку. Лязгая пряжкой, скатал свои джинсы. Холод был, как в морге. Шерсть стала дыбом на ногах, а то, что было в трусах, спрессовалось. Спецштаны велики, но одновременно коротки – в связи с чем от работы вприсядку уже лопнули на коленях. Я

вытащил из джинсов ремень, задрал спецовку и подпоясался. Сунул кулаки в карманы и, оттягивая парусину, вышел в проход.

Мигель оглядел бригаду, но по поводу моих прорех на этот раз только вздохнул.

– *Vamos*.

Что значит, двинули.

Будучи рабочей аристократией, никогда не оставляющей после себя *puntos negros\**, Мустафа подхватил банку с белилами и кисти, а мы разобрали свои ведра, губки, тряпки, порошки.

Лифты здесь не для нас. Мимо шершавых бетонных стен мы поднялись в фойе, где за роскошным мраморным столом с книжечкой в руках сидел завхоз этой конторы – тоже испанец, но иного рода. Принимая у Мигеля ключ, он отложил лиловый томик Дилана Томаса *Death and Entrances\*\**, перехватив при этом неосторожный взгляд чернорабочего. Когда я сворачивал на следующий марш, он все еще смотрел мне вслед.

– Он что, поэт?

– Марикон,\*\*\* – сказал Мигель. – Но хорошо устроился.

– Они такие, – поддакнул Мустафа.

На втором этаже он втолкнул в щель кофейного автомата полфранковую монетку и хлопнул меня по плечу:

– Давай.

Я выбрал кнопку «эспresso», а когда выпал изящный снежно-белый стаканчик и пролилась благоуханная струя, ткнул еще и в «добавочный сахар».

– Мустафа! Ты спас мне жизнь.

Свой «эспresso» он взял без сахара. Мы облокотились на перила.

Глядя на нас, соблазнились и прочие. Даже Али вынул себе горячий шоколад.

Потому что понедельник. Самый гнусный день.

Первым допил Васко, он отшвырнул стаканчик и вынул свой «данхилл». Роскошная пачка была воскресной, сигарета – последняя. Без сожаления он прикурил, подбросил зажигалку, поймал и свистнул на стук каблучков. Смакуя

---

\* Черных точек (исп.)

\*\* «Смерть и Вхождения» (англ.)

\*\*\* Педак.

свой «эспрессо», мы обернулись на секретарш, которые задрали подбородки и, крутя попками, свернули за угол. По этому поводу мы разговорились – кто чем вчера занимался.

Васко ходил с младшим братом на фильм-карате. Али водил свою Кончиту на фильм «Шарлотт, муй та кюлотт».\* Мигель своих детей – в Версальский дворец. О-оо... А ты, Мустафа? Никуда не ходил, ответил старик. Выпил *un poco*,\*\* а потом лежал и... «Бранлировал», – подсказал Али. Старик не обиделся. Нет, он курил. Что ты курил? Сигареты, конечно. Бранлировать, заметил Мигель, последнее дело. Это почему? Потому. Е... себя нельзя. Только другого. А если другой недиспонибелен? Нет-нет. Даже мужчину лучше вые..., чем это. Нет, лучше кактус, сказал Мустафа, снимая серьезность бригадира, и мы засмеялись, зная, что речь не о тех кактусах, которые в Париже, как и в Москве, растут в горшках, а о диких обитателях пустыни, где их называют «женами легионеров»...

– А ты, Алехандро?

– Что?

– Чем занимался в воскресенье?

– Свободу выбирал.

Под общий смех я погасил окурок в кофейной гуще.

Мне достался коридор – и, надо думать, не случайно. Мало того, что руки все в порезах от алюминиевых рам – на прошлой неделе одно из этих е...х окон меня едва не выбило наружу. Али, напарник, вошел в кабинет и увидел, как я боролся за жизнь, влезая внутрь. И стукнул, видимо. Потому что в субботу, распределяя конверты с наличностью, патрон заметил, что во Франции у меня есть возможность пустить его по миру – если, конечно, я сумею выпасть не разбившись насмерть.

Оно и лучше, что отставили от окон. При этом приходится передвигать тонны канцелярской мебели, которую здесь льют из танковой брони. А в коридоре одна забота – стремянку передвигать. Причем, только по прямой, поскольку в ширину я потолок достаю от края до края.

---

\* «Шарлотта, увлажни свои штанишки» (фр.)

\*\* Малость (исп.)

Он здесь с двойным дном, собранным из плиток пенопласта, серого в крапинку. Посреди каждой группы из четырех плиток – дырки с ободком и спрятанной внутрь лампочкой. Оттирая копоть с пенопласта, эти эмалированные ободки я оставляю себе напоследок, поскольку и в этой жизни надо как-то развлекаться, а это акт почти сладострастный – плавное, легко смыывающее грязь движение губки вокруг слепящей стоваттки. Алюминиевые рейки, поддерживающие этот потолок, удовольствие тоже, но меньше. Что неприятно, так это неизбежность намочания рукава свитера под спецовкой. Я вздергиваю его до локтя, принимая под мышку зуд стекающих капель.

Пора менять воду.

На правах недочеловека я пользуюсь исключительно дамским туалетом. Атмосфера здесь мне больше по душе. Не столько из-за запаха – здесь, во Франции, дезодорант стирает в этом смысле сексуальную разницу между «М» и «Ж» – а потому что, пока набирается вода, можно расслабиться, глядя на себя в их зеркало и представляя, а если повезет, и заставая за малым делом невидимых секретарш: шорох колготок, сощелкивание слипов, нетерпеливая запинка и эта неожиданная вертикаль, буравящая воду унитаза, конечно, голубую. Это звучало в нижней тональности, на басах и как бы всерьез – и затем треск отзыва, сминания, бережного промокания там, где все затаилось до вечера, – и вот она выходит. Цак-цак. С надменным видом. Как будто пролетарий не расслышал его вглубь – с той же акустической наводкой на резкость, как сняты орхидеи этой осени, кое-где мне на радость еще доживающие на афишах в предзимнем парижском метро.

Неторопливо я завинчивал кран, вынимал ведро и возвращался под потолок. Отжимая океанскую губку в новой воде, прозрачной и горячей, приятно возобновлять работу. Губка как живая. И к счастью, на мне спецштаны – настолько просторные, что можно лицом к потолку отдаваться фантазиям, в наплывах которых и протекал мой трудовой процесс.

Проверив качество и количество отмытого потолка, Мигель наградил меня сигаретой. Бригадир и человек малокурящий, он мог себе позволить «Мальборо».

– *Vamos comer, Alexandro.*\*

Мы спустились в гараж.

Слева от нашей двери к бетонной стене придвинуты два цеховых стеллажа. Перед ними железный стол со скамьями, тоже железными и холодными, почему мы их сначала устилаем специально заготовленными картонками. Стол накрывается прихваченным по пути из мусорного бака номером газеты *Le Monde*. Как человек семейный, Мигель утратил интерес к внешнему миру. Поэтому он садится лицом к нам, глазами, обращенными в гараж. Мы курим и наблюдаем, как разъезжаются французы на обед. Малолитражки секретарш, спортивные машины молодых специалистов (моих ровесников), большие и тяжелые лимузины седовласых боссов. Отъезжают задом от стены, разворачиваются и под ворота – на серый свет полудня. Уезжают все. Остаётся ароматный запах выхлопов. Бетонно, пусто, сумрачно и стыло. Ворота опускаются, становится уютно. Из газеты Мигель по соображениям гигиены выбрал только средние листы, где внутренние их дела, экономика, финансы. Веет скукой, тем более, что фотоснимков из снобизма газета не печатает.

– Его только за смертью посылать! – Мигель закуривает вторую сигарету. – Все они такие, португальцы.

– Индию зато открыли, – говорю я.

– А мы Америку! Подумаешь, *Индия*. Третий мир.

Мы не оспариваем их превосходства. Тем более, что Мустафа из Марокко, в прошлом испанского, а у меня с Али – испанки-жены.

Стук ногой по жести. Али вылезает и бежит к воротам – нажать красную кнопку.

Васко бухает на стол картонку: «Разбирайте, где чье!» Сам садится и развинчивает пиво «Вальтазар». Бутыль на полтора литра с зелеными ярлыками и пластмассовой головкой. Протягивает.

– Давай, Алехандро!

– Васко у нас богач, – говорит Мустафа. – Всегда зеленое берет.

Обеденный «Вальтазар» старика в удешевленном красном исполнении.

– Два франка разницы.

---

\* Идем обедать, Алехандро (исп.)

– Да, но зачем их отдавать? Градус тот же самый. А экономики полсотни в месяц. В год шестьсот.

Васко открывает рот.

– Шесть сотен? Это ж целая неделя?

– О чем и речь.

Через стол Мигель сказал:

– Слушай сюда, Васко... – Карманной навахой он лезвием к себе взрезал кусок «багета», выложил белое нутро батона влажными лиловыми ломтями ветчины. После чего сказал, что Васко наживет себе с желудком неприятности, если и дальше будет пиво натошак. – Гастрит! А то и чего похуже, – добавил Мигель, неизвестно как наживший себе в «дуз Франс» язву желудка.

Васко ударил себя по литой стали живота.

– Гвозди могу переварить. – Он выдул четверть бутылки. – В Анголе, когда я дезертировал, я эту съел...

– Неужто крысу? – и Мустафа заранее сплюнул.

– Нет. Эту, как ее по-французски?

– Скажи по-португальски, я пойму, – предложил Мигель, а когда Васко сказал, кивнул... – Запомни. По-французски значит «*la hiena*».

На этот раз Мустафа плюнул с искренним обращением.

Я посмотрел на Васко новыми глазами.

– И ничего?

– Ты видишь.

– Как ты ее поймал?

– Сам не знаю.

– Имел оружие?

– Только нож.

Мигель пояснил:

– Голод, Алехандро, оселок разума. – Он переломил свой сэндвич и меньшую половину протянул португальцу. – Поешь, Васко. Да не спеши, полтора часа наши. А есть нужно, ты слушай сюда! не ам-ам. Осмыслить при этом надо, что и как в тебя входит. Ты не смейся, дело говорю.

Но Васко набил себе рот и поспешил забить лучшее спальное место на стеллаже – нижнее, где потемней. Он лег прямо на железо и закрыл глаза, перекатывая при этом желваками: дожевывал. А когда на том же уровне соседнего стеллажа, подстелив картонки, устроился Али, португалец уже крепко спал.



Я сходил к мусорному баку за газетами. Обмотался ими, прихватил картонку и влез на среднюю полку. Как будто я еду, а они мои попутчики. За столом Мигель, покончив с йогуртом, непрерывной ленточкой спускал с яблока золотистую кожуру, а Мустафа доедал банан, толстый, шершавый и снежно-белый. Фрукты в этой стране едят не только дети. Даже такие вот сугубые мужики этим нимало не смущаются. Я влез в картонку с головой. Натянув на кулаки рукава свитера, зажал их между бедер и под скупой диалог по-испански закрыл глаза. Я их не очень понимал, но было ощущение, что все путем. Что наконец я сел в тот самый поезд. Хорошо бы, конечно, сесть в этот поезд в возрасте Васко, а не в середине жизни – когда не так просто приобщаться к физическому труду. Что я делал все эти годы? Господи, эти тридцать без малого лет? Лежа лицом к картону, пахнущему по-западному, хотя и неизвестно чем, я мысленно упростил свой случай – так рассказываешь свой невероятный роман человеку хоть и в элегантном, но *штатском*, который поминутно зажигал желтую сигарету из маисовой бумаги, тычет в машинку двумя пальцами.

Опуская при этом второстепенные сюжеты.

Например, такой...

Однажды в московском метро они с Инес столкнулись с девушкой, лицо которой искривилось, как от боли. Красивая, высокая и в западной дубленке – сразу видно, *дочь*.

– Не помните меня?

От беременности глаза Инес стали еще больше и смотрели прямо насквозь, но он был вполне уверен.

– Нет.

– Нас отправили за границу, и меня к вам привезли. Я вам собаку подарила...

Он кивнул:

– Милорд.

– Он еще жив?

– Надеюсь. Он той же осенью сбежал.

– Как это было?

– Мы с ним гуляли по ночам. Он вырвал поводок. Я не догнал.

– Конечно. Русская борзая...

Они молчали, глядя друг на друга.

– А с вами тогда, – решился Александр, – друг мой был. Не помните? Альберт?

Слезы покатались по ее лицу.

– Что с ним стало?

Девушка схватила его за отворот пальто, она стояла и открывала рот, пытаясь превозмочь судорогу, но сумела только зареветь и опрометью броситься в уходящий поезд. Это было на станции «Проспект Маркса», и они с Инес возвращались из Дворца бракосочетаний, где им было отказано в регистрации, это было еще до того, как в сюжет вторглись силы, превосходящие убогое советское воображение Александра, – силы международного коммунистического движения.

Проснулся я от грохота.

– А трабахар, Алехандро! А трабахар!

Я сбросил с головы картонку и навернулся так, что листовое железо загнуло.

– Е...! – трехэтажное родное замерзло на губах.

Бригадир смотрел с упреком.

– Ты должен молчать по-русски, Алехандро. Не забывай, что здесь ты для всех – юго.

Я свалился на пол и сорвал с себя газеты.

– Югославы тоже... Самовыражаются по-русски.

– Забудь, – сказал Мигель. – Выучи на этот случай парочку французских.

– *Par exemple*, – сказал Мустафа, – анкюле.\*

Но мне было не смешно. Гараж был снова забит машинами и газами. Вкус у сигареты, которой он меня утешил, был такой, что после затяжки я вынул из нее огонь и раздавил на полу. Бычок вонял омерзительно, и я заначил его в нагрудный карман до лучших времен. Все собирались в угрюмом молчании, только Васко все ля-ля да ля-ля. Это был наихудший момент, и, разминаясь, я заставлял себя не думать о том, сколько ведер еще предстоит мне сменить до конца.

В последнее я окунал руки, как в серную кислоту. В отделе, куда, закончив коридор, я внес стремянку, была только одна сотрудница. Отставив зад и оперевшись локтем,

---

\* Например... вые... в жопу (фр.)

она перелистывала журнал мод. Провокационную позу она не сменила, только покосилась на скрежет. У меня все болело, когда я влезал под потолок. Отсюда я увидел сквозь верхние стекла металлических панелей, что в отделе есть еще начальник. Я его видел в гараже, у него была спортивная машина, весьма его омоложавшая. Сидя в кресле, он ворковал по телефону, а из окна за ним открывался вид на старые дома Курбевуа.

Засмотревшись, я выронил губку, которая сочно шлепнулась об стол секретарши.

– О! – отпрыгнула она.

– Пардон.

Я спустился и вытер стол рукавом. Очаровательная женщина смотрела на меня, как на говно.

– Мадемуазель Ля Гофф, на секунду!..

Она убрала свой «Вог» в ящик и ринулась на зов начальства. Облачко ее духов растаяло.

Я взгромоздился под потолок и отжал губку в серной кислоте. Дома Курбевуа были все так же серы, но под ними мужчина в кресле – он был в бледно-зеленом пиджаке и розовой «бабочке» – разевал по-рыбьи рот, откинувшись так, что я сначала подумал – ему дурно.

Заглянул Мигель.

– Ля гер е фини!

– Тс-с, приложил я палец к губам. Спустился, вышел и, складывая стремянку, поделился. Но он только пожал плечами.

– *Francesas*. \* Для них это, как...

Уборщицы, которые поднимались нам навстречу, тоже были испанки, а с ними мартиниканка, веселая и молодая. Испанки серьезно и вежливо ответили на буэнас диас бригадира, а мартиниканка мне подмигнула: «Салю!»

Мы уже переоделись, а Мигель с Мустафой все оттирали бензиновыми тряпками – сначала ведра изнутри, потом руки. Им с Васко ехать в Версаль, и мы с Али пожали им предплечья.

– Смотри, не опаздывай...

Али заметил, что я держу дистанцию от края платформы, и решил сначала, что от дикости:

– В Москве метро нет?

---

\* Французенки (исп.)

– Есть.

– Боишься, что столкнут под поезд?

Алжирец недаром был из страны, идущей по пути прогресса. Кое-что соображал.

– Вроде не за что.

– Ха! Столкнули же недавно старика. Не видел во «Франс-суар»? Какой-то косоглазый – ни с того ни с сего. Ударил ногой в спину и в общей панике сбежал.

В вагоне мы держались за общий поручень.

– На танцы пойду сегодня.

– Один?

– Кончита же беременная. Пусть де Фюнеса смотрит. У вас телевизор цветной или черно-белый?

– Никакого.

– Разве? У нас уже цветной. Салю!

**ЭТУАЛЬ.** Я пересаживаюсь на вторую линию, которую выучил уже наизусть. **ТЕРН, МОНСО, РИМ, ПЛЯС КЛИШИ, БЛАНШ, ПИГАЛЬ** – где давящие на психику своим цветущим видом выходят туристы из Бундеса – **АНВЕР, ЛЯ ШАПЕЛЬ, ЛУИ БЛАН, СТАЛИНГРАД, ЖАН ЖОРЕС, КОЛОНЕЛЬ ФАБЬЕН** и наконец **БЕЛЬВИЛЬ** – что значит, господа, «Прекрасный город»...

На фоне почернелых домов кишит жизнь. Тогда еще квартал китайцы не завоевали, народец был тут всех цветов. Сбывает что-то с рук, сражается в наперстки, в три карты на картонке, толкует на углах о чем-то мизерном и темном, озираясь при этом, будто в планах налет на банк.

На этот «город» я обменял столицу сверхдержавы.

***Je ne regrette rien.***\* Хотя название квартала на склонах холмов Менильмонтана звучало иронично и во времена, когда здесь родилась Эдит Пиаф. Тогда здесь еще жили французы. Сейчас их нет, или почти. Североафриканский Гарлем. Под двойным доминионом вдоль рю Бельвиль то кошерное мясо, то мергезы, и на вывесках Зеленый Полумесяц сменяет Звезду Давида и наоборот. Если бы у меня спросили о способе решения арабско-израильского конфликта, я бы ответил не задумываясь: «Бельвиль».

---

\* Я ни о чем не жалею (фр.)

В начале рю Туртий я покупаю пачку сигарет, в конце выпадаю в осадок и вытягиваю ноги в югославском кафе.

За невымытой витриной – рю Рампонно с видом на мой дом. Катясь под уклон (советская газета еще напишет: «*ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ*»), жизнь моя остановилась здесь.

Братья-славяне перевозбуждены. Кроме ругательств, я понимаю только, что в нашем квартале кого-то убили. Гашу окурок в алюминиевой пепельнице, допиваю кофе и выкладываю на мрамор три франка.

В окне на пятом этаже два силуэта – дочь и роковая женщина по имени Инес.

Анастасия прыгает на шею:

– Папа пришел!

– Мы уже волновались, – говорит Инес. – Как было?

– Нормально.

Консервированная фасоль и размороженные бифштексы из родного супермаркета. Ничего нет вкусней. Инес приносит бутылку «Кроненбура». Потому что в семье событие. Первый день Анастасия во французской школе.

– Что-нибудь понимала?

– Манже. Учительница показала на тарелку и сказала: «Манже».

Будет говорить на языке цивилизации. Хмельные слезы выступают мне на глаза.

– Иностранцев в классе много?

– Все иностранцы. Одна девочка японка. Но русская только я.

– А учительница?

– Француженка. Только не учительница, а метресс. Мама, мне холодно без трусов.

– Завтра получишь. Надо бы ребенку еще одни трусы, а то чуть что катастрофа.

– Хочу с сердечками. Которые в «Призюнике». А еще хочу, чтобы у меня был зизи. Хочу писать стоя, как мальчики.

– Она в школе так и сделала. Трусов при этом не снимая.

– Почему?

– Там вместо туалета дырка. А вокруг следы людоеда.

– Однажды в Париж приехал один американский писатель. У него тоже была дочь, и даже две. Он был знаменитый писатель, а они писались в трусы. Сортиры здесь не для девочек со вкусом.

– Еще есть девочка из Югославии. У ее папы с мамой кафе, которое напротив. Они богатые, но ее бьют.

– Видишь? Мы, хотя и бедные, не бьем.

– А почему мы бедные?

– Потому что свободные.

– В Москве не были?

– Нет.

– Зато в Москве у нас все было. Даже телевизор. Почему вы все оставили?

– Доедай.

– Не хочу. Я телевизор хочу...

Перед сном транзистор, который я нашел в мусоре на улице, сообщает, что в квартале Бельвиль шестью выстрелами из пистолета убит политэмигрант-журналист.

– Квартал у нас однако.

– И богатых убивают точно так же.

– Был бы хотя бы пистолет...

– Не Техас. Без разрешения не купишь.

– Можно и без. Мне на Блошином рынке предлагали. Но дорого, месяц жизни...

– Против государства защищаться невозможно. Висенте всегда говорил, что если он жив, то только благодаря Франко. Тому, что нет решения убить.

– То есть, быть фаталистом?

– Другого выхода нет.

Чувствуя себя безоружным, уснуть я не могу...

Мы с Мустафой купили сигареты и спиной к продавщице сняли со стеллажа журналы – он «Люи», я «Плейбой». Глянцевые страницы застлали мне глаза фактом свободы.

Картонки ждали нас у дверей табачной лавки. Мы приняли их на грудь и двинулись под мокрым снегом. Он снисходительно взглянул:

– У тебя от этого встает?

– Мустафа! В первые дни у меня даже на аптеки вставал.

– То есть?

– На витрины с рекламой.

– Там же груди одни.  
– И тем не менее.  
– А сейчас?  
– Прошло. На аптеки...  
– Пройдет и на журналы, – пообещал старик. – И на фильмы пройдет.

Дочери у него работали в Германии, и хотя был он жилистый и сильный, но весь уже седой – даже волосы на груди.

– Может, – предположил я, – у тебя вообще прошло.  
– У меня? – Глаза, печальные по-библейски, вспыхнули гордым огнем. – А вот в субботу ходим на Пигаль – давай? Там ты увидишь.

– Давай ходим.  
Бригада мрачно курила в ожидании обеда.  
– Ты бы зашил себе штаны, Алехандро, – сказал Мигель. – А тебе, Мустафа, побриться бы не мешало. Как вы в таком виде на люди выходите? Не понимаю. Поэтому они нас и презирают. Из-за таких, как вы.

Игнорируя, Мустафа отвинтил пиво:  
– Тома, русо!  
– Надо следить за собой, – Мигель раскрыл шаваху и вспорол багет. – Иначе ничего у вас во Франции не выйдет. Так и останетесь неудачниками. А как вы думали? Во Франции самое главное внешность. Вот посмотрите на Али.

Мустафа огрызнулся по-арабски, всем видом выказывая, что е... нравouchения.

– Мигель, – сказал я, откусывая сэндвич. – Давайте ходим на Пигаль, а? В субботу, всей бригадой.

– Куда?  
Али с Васко засмеялись.  
– На пляс Пигаль.  
– Ходер!\* – Бригадир даже перестал жевать. – Я ведь женат.

– Я тоже, – сказал Мустафа.  
– Сравнил! Твоя в пустыне, а моя в Версале.  
Али засмеялся.  
– Жены боится...  
– Не жены, – сказал Мустафа. – Боится проституток.

---

\* Е... (исп.)

- Кто, я?  
– И знаешь, почему? Потому они французенки.  
– Я – проституток? Лас путас – я? Ходер! Коньо! Ме ка-  
го ан ля мар!...\*  
– Так как?  
Бригадир замолчал и сдвинул брови.  
– В субботу, говоришь?  
– В субботу.  
– Черт с вами. *Vamos.*

Мы завернулись в газеты и легли на железные нары. Он еще долго не мог успокоиться. Ворочался и прогибал железно. Спросил, а видели мы фильм «Эммануэль»? Мы видели. Мигель ходил с женой, и фильм ему понравился, ибо «Буэно пара ходер...» Но пляс Пигаль? К лас путас? Последнее, что я услышал, было многоэтажное «ме каго ан ла ле че де ла пута вирхен Дева Мария...»

Мне стало как-то не по себе. Будто сокрушил последний бастион христианской этой цивилизации.

– Раздвинь! Раздвинь! – закричал впереди один зритель.

С помоста женщина крикнула в ответ:

– Десять франков!

Монета шлепнулась на доски, и она присела.

– Тьфу, – плюнул Мигель.

На помосте женщин грели радиаторы, и они, закончив стриптиз, сразу влезали в свои дубленки, но здесь, среди заиндевелых стен, стоять было холодно. Мы повернулись и вышли. Это был дешевый рождественский стриптиз, пять франков вход. Над бочкой с костром женщина держала руки в беспальных перчатках.

Мы вернулись к метро. Все было залито красноватым светом – заиндевелые деревья, и косая эта площадь, и карусель на ней машин, сверкающая отражениями неона, и стекло киоска, и даже околевший у пылающей жаровни продавец каштанов – эфиоп. Сквозь мглистость с неумолимой четкостью читались вывески типа *НЮ ИНТЕГРАЛЬ... ЛАЙФ-ШОУ... ЭРОС-ШОП...*

СЕКС.

---

\* Б...? Е...! П...! Сру на море! (исп.)



Зарождаясь в глубине бульвара, это слово змеилось по обе его стороны и, выползая к ним на площадь, обвивало, как удав, как изначальный Змей.

– Так что? – сказал Мустафа.

Из-за стекла киоска на нас смотрели обложки журналов. Радостные девушки на них раздваивали себя трусиками. У каждого из нас в кармане похрустывал конверт с получкой за неделю.

– Что-что... Идем, – сказал Мигель.

– Холодно, – поежился Али. – Наверное, домой пойду. Телевизор посмотрим лучше.

– Миерда\* же сегодня, – сказал Мигель. – Ни одного фильма.

– Зато концерт. Там этот будет...

Васко встрепенулся:

– Кто?

– Как его... Комик один. Кончита очень его любит.

– Как знаешь...

Али вынул из кармана руку и распрощался:

– Амюзе ву бьен!\*\*

Насвистывая, он сбежал в метро и скрылся за дверьми.

– Конечно, – сказал Мигель. – Телевизор у них цветной. Ни в чем себе не отказывают. Но ничего, вот будет ребенок, узнают...

Плечом к плечу мы двинулись, я – с острым чувством нарушителя табу. Никто не знал, что перед выдачей зарубежного паспорта у меня отобрали подписку – избегать, среди прочего, сомнительных мест.

– Может быть, по пиву для начала?

Мигель сверкнул глазами:

– *Vamos!*

Мы вклинились в толпу. Месье, застегнутые на все пуговицы и с отсутствующим видом. Морячки в беретах с красными помпонами. Из-за занавески с гоготом вывалилась группа пожилых американцев фермерского вида – в обнимку с женами. Просияв набриолиненной прической, зазывала схватил Мигеля за рукав.

– Прими руку.

---

\* Говно (исп.)

\*\* Приятных развлечений! (фр.)

– Месье, не пожалееете, – совал тот контрамарку, пока не согнулся от того, что локоть бригадира въехал под ложечку.

В проулке красавица-мулатка упиралась в стену лопатками и ногой. Мигель покосился на мускул бедра.

– Вроде ничего.

– Мужик же, – прыснул Мустафа.

– Не понял?

– Травести, ну? Марикон.

Мигель оглянулся:

– У него же эти...

– Парафиновые наколол.

– Да ну?

– Говорю тебе.

– Х-ха... А под юбкой тогда у нее что?

– Как у тебя и меня.

Мигель плюнул под ноги:

– Х-ходер.

Справа открылись витрины в зал игральных автоматов. Васко свернул вовнутрь и, ухватившись за первые же обрезиненные рукоятки, погнал по экрану гоночную машину. Мигель покрутил головой, мол, пацан... Реакция, однако, у пацана была, и в ожидании, когда он разобьется, мы закурили. Васко не разбился, но перешел к другому автомату. Докурив, мы, как это принято в Париже, затоптали окурки на мраморном полу.

– Не надоело? Эй, Васко?

Васко не обернулся:

– Охота поиграть...

– Мы что, играть сюда пришли?

– Ладно, – сказал Мигель.

– Как это «ладно»? Сейчас найдем тебе по возрасту. Или мамаш предпочитаешь? Нет, ты скажи ему. Он всю получку спустит.

– Если хочется, – бормотал Васко, сбивая одну советскую ракету за другой.

Мустафа выругался по-арабски и вышел.

– Так что, Васко, до понедельника?

– Ага.

– Ну давай, – и мы похлопали коллегу, ведущего прицельный огонь.

Мустафа ждал у витрины, за которой прокручивался ширпотреб: зажигалки, пугачи, штампованные часы, пла-

стмассовый паук, слепок женских грудей, сплющенные целлофановой упаковкой резиновые маски с разинутыми красными ртами. Проплыл здоровенный огурец, темно-зеленый и в бородавках.

– Х-ходер... – Мигель сплонул под витрину. – Знаешь, почему он с нами не пошел?

– Пацан потому что, – ответил Мустафа. – Е... он пошел. Его самого еще е...

– У него девчонка завелась.

– У Васко?

– Ну. Тоже португалка.

– Ну и держался б с ней за ручки. Чего он с нами-то пошел?

– А поругался. Они знаешь какие, португалки? О, – Мигель выпятил губу. – Еще серьезней, чем, Алехандро, наши с тобой испанки. У тебя с твоей до свадьбы было?

На мгновение я вспомнил Москву.

– А у тебя?

– Ха, – ухмыльнулся бригадир. – Если б было, я еще подумал бы, брать мне ее или нет.

– Тем и заманивают, – сказал Мустафа. – Когда поймешь, что ничего там нет, уже, брат, поздно...

– Но ты-то от своей сбежал.

– Да уж «сбежал». Два раза в месяц деньги ей перевожу.

Мы не заметили, как миновали пляс Бланш и спустились на пляс Клиши. Где спохватились, но было поздно. Секс кончился, на нас смотрели обычные дома.

Мигель отвернул рукав.

– Наверное, пора.

– Чего?

– Да как-то оно...

– Ты обожди. Тут место одно есть. «Абатуар»\* называется. Очередь, правда, отстоять, но только пятьдесят франков.

– За что?

– Не за ночь, конечно.

– Да, – признал Мигель. – Недорого.

– Дешевле только подрочить.

– Нет, – возразил я. – В Венсенском лесу за двадцать франков могут отсосать.

---

\* «Бойня» (фр.)

– Откуда ты знаешь?

– Писатель один сказал.

– Русский, наверно?

– Ну.

– Я не писатель и не русский, – ответил старик-марокканец. – Могу позволить себе и абатуар. Так как?

– Я вот что думаю, – сказал Мигель. – Что Алехандро хорошо, сел в метро и прямо до Бельвиля. А нам с тобой до Сен-Лазара, там поезд ждать, да по Версалию полгорода пешком. Может, поехали? На пару будет веселей.

– Ты развеселишь, – иронически бросил старик.

– Все не одному.

– А потом? Ты в семью, а я?

– Ко мне зайдем, посидим.

– А потом?

– Потом, потом – заладил! Потом воскресенье будет.

– Не люблю я воскресений, – упирался Мустафа. – Я как сейчас люблю. Когда кажется, что что-то еще будет...

Так мы стояли, глядя на пар, который срывался из решеток над станцией Клиши, а потом я пригласил их в кафе. И мы постояли еще, но в тепле и с пивом на медной стойке. Перед тем, как отправиться на Пигаль, мы оттерли бензином руки, но белая кайма под ногтями была уже несмываема, и я прятал руку от бармена. Потом я утер усы и вытащил конверт. Мигель перехватил запястье, я вырвался:

– Брось, я приглашал.

Разодрал конверт и вынул сотню. Потом собрал бумажки сдачи, взял блюдечко с мелочью и ссыпал в карман своей куртки. На прощанье Мустафа положил в него франк, который бармен смахнул: «Мерси!» – и перевернул это блюдечко из старинной темно-зеленой пластмассы с адресом на доньшке и этим словом, отштампованным на сердце: *Paris*.

– Ладно, поехали, – сказал Мустафа.

– И деньги целы будут. Еще спасибо скажешь.

– При чем тут деньги? Просто никто мне не понравился. В следующую субботу вернемся, – сказал мне Мустафа, – тогда я тебе покажу.

– Ладно.

– Знаешь, какой я в молодости был? О! Я дерево однажды вые... Не веришь?

– Верю, – сказал я, не представляя, какие деревья могли быть в его пустыне.

– Конечно, я не тот, что в молодости, но... А еще лучше – знаешь? На Сен-Дени съездим. Ты был на Сен-Дени? О-о... Знаешь, там какие? Не то, что здесь.

– Здесь тоже неплохие, – сказал Мигель.

– Да ну, мариконы одни!

Мы допили, вышли и спустились в метро, где бригадир сказал:

– Не опаздывай в понедельник.

– Где ты был так долго?

– С ребятами прошелся.

– С какими?

– С сотрудниками.

– На Пигали, наверное, были.

– Точно.

– Надеюсь, ты шутишь?

– Успокойся, шер. Все о'кей. Мы просто прошлись по полям Елисейским. Примем душ?

Но Инес была не в настроении.

В душе я уснул.

Звонок раздается утром, когда еще темно. Пол ледяной. Я сажусь на корточки и беру трубку, левой рукой одновременно защищая яйца.

Это Палома, сестра Инес. Из кафе напротив своей типографии. Кончает за «гинесом»\* ночную смену. Сегодня, говорит Палома, она испытала самый сильный шок в своей жизни.

– В связи?

– А ты не знаешь?

– Нет.

– Ну, будет сюрприз. Нет, как ты мог?

Она бросает трубку.

Сияло солнце, но газоны в парке *Buttes Chamont* не таяли. Мы выдыхали чистый пар. Несмотря на перекуры, в конце концов околели и пошли домой. Перед книж-

---

\* Ирландское темное пиво.

ной лавкой на рю Боливар выставлен стенд с воскресной прессой.

Вдруг Анастасия вырывается из рук.

– Это папа! Это папа!

Я повернулся – и подошвы как примерзли. Справа в широкополой шляпе был Джеральдин Чаплин, ниже Артур Кестлер с сигарой, а по центру рисованный портрет романтического красавца, пришибленного мировой скорбью. *ЭКСКЛЮЗИВ* – шло над портретом – *СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ТРИДЦАТИ ЛЕТ ВЫБРАЛ СВОБОДУ ВО ФРАНЦИИ*.

Почему же «советский»?

Я выдернул газету, развернул. Обрамлен был красавец текстом своего интервью, которое, обрываясь, продолжалось на третьей странице между снимками серьезного юноши и хохочущего Солженицына с всклокоченной бородой. Мэтр, так сказать, и ученик...

– Наконец-то напечатали, – сказала Инес. – Теперь ты защищен гласностью. Дай мне сигарету.

На углу я остановился.

– Мне надо выпить.

В кафе размотали свои шарфы. Подошел гарсон. Он посмотрел на меня, а я на Инес, которая и заказала – апельсиновый сок, свежесжатый, льда не надо и два кофе.

– И ан кальва, – добавил я.

Инес посмотрела на меня и перевела:

– И рюмку кальвадоса.



Оружие в доме было. Еще в первый наш день в Бельвиле я нашел топор. Он лежал на кухне под раковиной, где темно и сыро. Защитившись гласностью, я выволок его, вытер тряпками, отскреб наждачной бумагой и взял с собой в постель.

– Не впадай в паранойю.

– Кто впадает?

Сверху мы навалили пальто, так что мне было тепло – исключая руку с топором, который лежал на полу. Когда лестница за дверью начинала скрипеть, пальцы сами сжи-

мались у топора на горле. В перерыве между тревогами я отпустил его, чтобы согреть руку у нее под мышкой.

– Неужели ты способен зарубить человека?

Я не ответил.

– Это ужасно, – сказала Инес. – Не знаю, как я буду с тобой жить. Запад проявляет тебя с неожиданной стороны.

– Зато проявляет. А то так бы и остался невидимкой. Как все.

– Не знаю, не знаю...

Я закрыл глаза. Я почувствовал, как из меня выходит прежний образ. Испаряется вместе с дыханием. Мне его стало жалко, я всхлипнул. Она повернулась и обняла меня. Грудь у нее были влажны от пота.

– Ну успокойся. Что с тобой?

– Х-холодно, – сказал я, содрогаясь от сознания, внезапного, как кровавый кошмар – что я способен теперь на что угодно.

В понедельник, спустившись в гараж, мы обнаружили хозяина. Поставив рядом свой пикап, Пепе сидел за нашим обеденным столом. Он хлопнул по железу и поднялся. Распахнул дверцы машины, вынул картонку и бухнул об стол:

– Налетай!

Связка бананов, спайки йогуртов, сыры, ветчина, хлеб, кока-кола и много пива.

– Давайте, давайте... За мой счет.

Я сорвал пробку с «Кроненбура» о стеллаж. Настроение у меня, как и у всех было отличное. Мы заканчивали небо-скреб и со следующей недели выходили на новый и волнующий объект – обивать шелками будуары на авеню Фош.

– Ходер, Алехандро... – Пепе смотрел на мои колени. – Снова штаны мне порвал. Третьи уже.

– Вторые.

– Где же вторые? Первые в Сен-Жермен-ан-Ле. Вторые в Нантерре...

– В Нантерре, – возразил я, – первые.

– А в Сен-Жермен-ан-Ле? Или не рвал?

– Порвал. Но мои собственные.

– Разве?

– Спроси у них.

– Ладно, – сказал Пепе. – Снимай. Отвезу жене, починит.

Меня это удивило.

– Как это «снимай»? А работать в чем я буду?

Бригада смотрела на хозяина. Даже Мигель перестал жевать. Хозяин взял со стола его «Мальборо», щелкнул зажигалкой и выдул дым в сторону.

– Работать, Алехандро, больше ты не будешь.

– То есть?

– У меня, во всяком случае.

Мне показалось, что я его не понял. Но у бригады вид был потрясенный, и я поставил бутылку на стол. Мигель назвал хозяина его полным именем.

– Ты что, Франсиско? Работает он хорошо. И парень неплохой.

– Неплохой, говоришь? – Не глядя на меня, хозяин слез со стола, где сидел одной ягодицей, сходил к машине, открыл переднюю дверцу и вернулся с воскресной газетой. Припечатал он ее так, что гул по гаражу пошел:

– Или я обознался?

С портрета на первой странице бригада перевела глаза на меня. Я ухмыльнулся – чисто нервное.

– Так кто это, Алехандро?

– Ну, я. И что с того?

В гараже зацокала задержавшаяся на обед секретарша, рядом с которой шел начальник. Они сели в его «Ланчию», завелись и уехали, оставив выхлопной аромат. Параллельно шла нормальная жизнь – адюльтеры, рестораны, эмоции, минетты...

– А то! – сказал хозяин. – Когда здесь наконец начнется, я первый ворвусь в эту газету. И вот так! – вскинул он воображаемого «Калашникова». – Всех сволочей до одного. И тогда советую тебе мне на глаза не попадаться. Я помог тебе, как советскому человеку. А ты... Теперь ты по другую сторону баррикад.

Сам он дезертиром был из армии генералиссимуса: сделал ноги за Пиренеи. В Париже подставил спину под случайный рояль и заработал первые франки. Сейчас у Пепе есть все, чего не будет в этой жизни ни у меня, ни у трехсот миллионов жертв коммунизма – кипучая энергия, цветущее здоровье, красивая жена, дети-билингвисты, две машины, миллионы в банках, недвижимость, как здесь, в стране убежища, так и в Испании, которая давно на Пепе не в обиде, а главное вот это наживное дело, приносящее



прибавочную стоимость. И эта живая, симпатичная частичка капитализма смотрит на меня, чернорабочего, с горячей ненавистью.

– Какие баррикады... Ты же не коммунист?

– В партию не записан, но... целиком и полностью! – Он постучал себя по груди. – Товарищ Висенте попросил тебя трудоустроить, и я пошел на риск. А ты подвел товарища Висенте. Опозорил его перед Кремлем.

– Не лезь, – сказал я, – в семейные дела.

– Очернил свою страну, как Солженицын. Писатель он. *Экривен*. Таких *экривенов* я бы к стенке и та-та-та!

– Ставь! «Калашников» уже выдали?

Хозяин захлебнулся. Вынул из заднего кармана конверт и бросил на стол. Повернулся и пошел к машине. Еще у него есть и выходная, как у де Голля, хвастался он, черный «ситроен ДС» с гидравликой, на котором раз он отвозил меня в Бельвиль после воскресного обеда, когда он сам мешал мне «Куба либре» и говорил, что лично он университетов не кончал и «Капитал» не конспектировал, а вот...

Я крикнул:

– Спятил да? Я же обо всем тебе рассказывал. И ты смеялся. Пепе, стой! Все, что в этой газете, правда!

Он чуть не въехал в стену задом. Тормознул и высунулся.

– Правда в другой газете! В «*Правде*»! Знаешь такую? Правда в том, что правые свиньи в жопу тебя вые...!

Я разорвал конверт и запустил ему под колеса.

– Конформист! Капиталист! – Захлебнувшись, я перешел на русский. – И рыбку съесть и на х... сесть?

Он выскочил с монтировкой.

Я схватил бутылку. Ее уже открыли, и, замахнувшись, я облился. Из горлышка кока-кола хлестала мне в рукав, на грудь и на пол, где, пузырясь, растекалась лужа.

Он опустил первый:

– А ну снимай мою одежду.

Я выложил на стол сигареты, они промокли вместе с обратным билетом на метро, заложенным под целлофановую облатку, вот сволочь, сорвал спецовку и бросил на пол. А следом е... спецштаны. Уже мне не хозяин, он все это подобрал, швырнул в пикап на банки с краской и вылетел из гаража, ободравшись крышей о забрало, которое еще не успело как следует подняться.

Мигель с Али изучали мое интервью в газете.

Мустафа закурил, сел на корточки и собрал обрывки стофранковых бумажек. За пол рабочего дня мне причиталось 50, но Мустафа сложил шесть сотенных – заплачено за всю неделю.

– Не возьму! – я крикнул. – Тоже мне филантроп.

В одних трусах я сидел на железе. Сжимаю с одной стороны трицепс, а с другой косую спины. Одно утешение, что накачался в этой роли.

– Склеить, и все, – сказал Мустафа.

– Где мы работали, есть «соч», – сказал Васко.

– Вот и сходил бы.

– Это мы сейчас...

– Не ходи! – крикнул я вслед португальцу. – Не нужны мне е... деньги. Я их не заработал.

– Но ходас,\* Алехандро, – сказал Мигель. – Сюрплюс. Прибавочная стоимость. Ты Маркса проходил?

– Тогда пропьем, – сказал я. – Месье, я приглашаю!..

«Кус-кус» на всех и розовое марокканское. В арабском ресторанчике было грязновато и очень вкусно.

– Сволочь он, Пепе, – говорили они мне.

Я возражал:

– А мне он чем-то нравится.

– Он в общем неплохой мужик, – поддакивали мне. – Но сволочь.

– При этом дети у него хорошие.

– Ну, дети! Они уже французы.

– Что с того? Французы разные бывают.

– Зато во Франции свобода.

– Что ты ему-то объясняешь?

– А что там ее нет, про это каждый знает. Он просто сволочь...

– Не только там, – сказал Али. – Да, Мустафа?

– Но мы с тобой помалкиваем в тряпочку, – добавил Мустафа. – Сидим во Франции и радуемся. Что?

– А ты попробуй! Достанут и во Франции. Руки у них какие, знаешь?

– Нам хорошо, мы люди маленькие. А он писатель... Молчать не может.

---

\* Не м... (исп.)

– Профессия такая...  
– Профессия неплохая.  
– Это смотря где, – оспорил я.  
– Во Франции они живут, как боги. Говорю вам.  
– Ты-то откуда знаешь?  
– Кончита говорила.  
– Кончита...  
– Она без книжки заснуть не может. Говорит, живут, как в масле сыр. Сименон там, Сан-Антонио. Или этот, который серию про САС.

– Видишь? Ты, Алехандро, еще на «мерседесе» в гости к нам приедешь.

– Конечно, по-французски надо писать.

– Научится. Делов-то! Главное, чтоб сочинять умел, а там...

– «Мерседес» не «мерседес», но сотню в день себе он зарабатывает. При том работа чистая. Не так, как мы: в грязи да в краске. Перышком по бумаге...

– Еще бутылочку, ребята!

– Наверное, будет...

– Домой же ехать...

– Хорош.

– Тогда по кофе? Эй, сильвупле!..

А было это в Кербевуа за Сенной, где родился Селин и где еще сохранился ломтик домов той эпохи, облупленных, с трещинами, с глухими стенами в просвечивающих сквозь известку рекламах вечных ценностей, вроде перно или «дюбонне», – с мусором вдоль тротуара, с мощенной мостовой, где даже в начале зимы из булыжников выбивалась трава. Обязательно вернусь, думал я. Надеюсь, этот ломтик до весны не доедят бульдозеры...

– Осторожно в метро, – шепнул Али.

Даже если воскресный номер газеты в понедельник еще не забыли, то просто невозможно было опознать его эксклюзив в разбитом и хмельном люмпене, свесившем между потертых вельветовых ляжек изрезанные руки с грязными ногтями. Но на меня смотрели в метро. Хотя и отводили взгляд, когда я вскидывался в упор.

Инес сказала, что телефон не умолкал весь день. На

предмет интервью домогались средства массовой информации этого мира, как то: Би-би-си, Радио «Свобода» и еще...

– Издательства не звонили?

– Издательства нет.

– Еще позвонят! – сказал я уверенно. – Мне нужно книжку продать. Как можно быстрее.

– Куда спешить? Мы же на Западе.

– Вот именно...

– Что случилось?

– Меня с работы выгнали.

Инес поднимает голову со стоном, от которого Анастасия не просыпается.

– А кофе?

– Готов.

– Принеси мне трусы. На батарее в душе...

После кофе Инес натягивает сапоги. При этом она морщится, поскольку в поисках работы уже стерла ноги в кровь. Шарф один на двоих, и, надевая его на Инес, я обнимаю ее на прощанье. Неуместная эрекция елозит по ворсу ее пелерины.

Меня будит дочь.

– Папа, мне пора в школу.

Преимущество нищеты в том, что каждая вещь на виду. Я беру с камина расческу.

– С-сс...

– Что?

– Больно!

– Пардон. Сделаю тебе конский хвост, а то опоздаем.

– Не хочу конский.

– Это же красиво. В мое время все его носили.

– Ты не так его делаешь, надо туго.

Капитулируя, я скатываю обратно зеленую резинку, она распускает по плечам свои медные волосы, бросая при этом взгляд самосознающей красавицы. Четыре года, бог ты мой!

Холодильник у нас запирается на тяж от эспандера.

Дочь ест, болтая ногами.

– Принеси мне воду, пожалуйста. Только в стакане *авек Сандрийон*.

Имеется в виду из-под горчицы – с картинкой.

– А как по-русски?

– С Золушкой.

– Молодец.

В толпе африканских детей дочь исчезает в двери, над которой герб Парижа и сине-бело-красный флаг. Кафе на углу рю Бельвиль и рю Туртий уже опустело, официант в запятнанном фартуке сгребает опилки, перемешанные с окурками. С пачкой «голуазов» я возвращаюсь на свой перекресток. В писчебумажной лавке – проблема выбора бумаги. Еще в Союзе, где и с белой проблема, меня журнал «Америка» впечатлил фактом, что Джон О’Хара имел обыкновение писать на желтой. Возможностью выбора индивидуальной бумаги. Но какую выбрать мне? Желтую было бы эпигонством. Бледно-бордовую? Но к оттенкам красного у меня идиосинক্রазия. А сиреневый? Его нет. Может быть, поехать в Центр – приходит из прежней жизни. Но какой тут центр? Ты на Западе, где центр только и исключительно там, где в данную минуту ты заполняешь собой объем. Повсюду. Сейчас – вот здесь. И не в бумаге дело. В том, что внутри. В том, что когда-то называли Царство Божие...

Купив бумаги цвета увядшего латука, я поднимаюсь домой и ложусь головой на стол. Потом я встаю, я открываю дверцу встроенного шкафчика и достаю советский самоучитель французского языка. Я листаю, задерживаюсь на фразе: *«Они встретились в Москве. Она парижанка, он – советский. Переведите...»*

На вклеенном листке срок возврата – дата пятилетней давности. Я взял этот учебник в библиотеке «спального города» после того, как загоревшая в закрытом доме отдыха в Крыму Инес в один прекрасный день вернулась в шлакоблочный город на черной «Чайке» со своим отцом, который нас с ней, скрепя сердце, благословил на долгую и счастливую жизнь.

Не на Западе, конечно.

В СССР..

Я запускаю самоучитель в угол.

Беру машинку и удаляюсь в кабинет. Ванную хозяин-бретонец превратил в третью комнату – с плиточным полом и высохшим умывальником. Вот перед ним я и сижу – поперек доска, на ней машинка. Я смотрю в стену, но обра-

зы прошлого не возникают. Во-первых, потому что в комнате воняет. Запах из тех, что либерализм оставляет за порогом сознания. Но он реален – плотный, телесный, как бы кондитерский. До нас квартиру населяла огромная семья из Африки. Спали вповалку на циновках. Я набиваю каморку сигаретным дымом. Встаю и с треском открываю окно. Внизу мусорные баки, а квадратик двора красный от крысиного яда. Вокруг тылы домов Бельвиля. Их мрачность оживляют только разноцветные сушилки с бельем, выставленным за окна, в которых никого. Мужчины на работе, дети в школе, женщины досыпают или предаются сексу – который у них для себя.

Я закуриваю новый «голуаз» и, оставив лепрозорий с открытым окном, возвращаюсь с машинкой в цивилизованную часть квартиры. В детской из стены торчат оголенные провода. Надо купить патрон, ввинтить лампочку. Но это уже излишества на будущее, пока же можно утешиться тем, что дотянуться ребенок при всем желании не сможет.

В гостиной камин. Бездействующий, но полезный. За его решеткой мы держим официальные бумаги. Еще гостевая моя трехмесячная виза не истекла, а бумаг накопилось в Париже масса – и это все, что у нас есть. Не считая кровати – основы без матраса.

Я сажусь к окну с машинкой на коленях. Не нищета, в конечном счете, раздражает, в проекте она предусматривалась. Антиэстетичность. То, что обивка основы бордовая, сама она голубая, а одеяло на ней армейское. Пластик стульев и стола. Обои по вкусу хозяина-бретонца. Эстетические разногласия с реальностью и на свободе продолжают. Вынося все это «за скобки», я устремляю взгляд на флакон Герлена, который отражается в черном зеркале каминной доски. Есть еще утешение, которое всегда под рукой: голубая пачка сигарет. С окрыленным шлемом – бессмертное творение некоего Яхно.

Неужели «голуазы» нарисовал им эмигрант?

Мешок со старой одеждой мы по пути заталкиваем в мусорный бак, а завернутую в номер «Русской мысли» стопку супных тарелок, хотя и старых, но полезных, я несущу дальше в ночь.

На повороте нас обгоняет машина новых знакомых. Тяжелый «вольво» юзом идет вниз по бульвару Бельвиль.

Я подскальзываюсь, падаю. В газете одни черепки.

– На счастье, – говорю я, складывая их у порога чужой парадной, где уже выставлены мешки для мусорной машины.

– А если они в гости придут? Неудобно.

– Вряд ли они придут.

Новый год, встреченный у русских парижан под блюдом с двуглавым орлом империи Российской, я выbleвываю в свой сортир. На кухне Инес делает кофе.

– А где Анастасия?

– Спит.

На ней вельветовые джинсы.

– Убери руку.

Я шевелю пальцами в ее заднем кармане.

– Убери, говорю.

– Почему?

– Весь вечер этой русской на п... смотрел.

– Я?!

– Не я же. В лоно хочется вернуться?

Окно заиндевело. Я соскребаю, прижимаюсь лбом. Темно. Только одно горит, но почему-то красным светом. Оно зашторено, и жуткий этот свет пробивается по краям.

– Не знаю, о чем ты с ней ворковал, но муж ее мне предложил работу.

– Неужели?

– Домработницей.

– Кем?

– Ну, бонной... К русским.

– Ты – домработницей?

– Почему нет? Соцобеспечение хотя бы будет. А то даже к врачу ребенка не сводить.

– С твоим дипломом, с языками? Неужели, – говорю я, – неужели твой отец покорил эту пирамиду, чтобы ты... Неужели все это напрасно? Полмира убитых и эта пирамида...

– Какая пирамида? Что за бред?

– Хеопса!

Одним ударом я выбиваю стекло. После паузы осколки разбиваются внизу, в крысином пяточке двора. Она меня втаскивает обратно, и вовремя: сверху, вырвав замазку, лезвием гильотины выпадает часть стекла и разлетается по кухне.

Я зажимаю себе запястье. Руку я держу подальше, чтобы не запачкаться в своей крови.

*Кап-кап* – пятнает она плитки. Моя кровь.

– Чем же ты писать теперь будешь?

– Ногой.

В издательстве на рю Жакоб беглый советский писатель выкладывает на стол свою советскую книжку и убирает перевязанную руку.

– Рассказы? Во Франции нет спроса, это в Америке...

– Что же, мне в Америку бежать?

– Роман у вас есть?

Чего нет, того нет.

– Вот если бы роман...

Ступени деревянной лестницы круты по-дантовски и взвизгивают.

Из-за стекол кафе «Флор» парижские интеллектуалы, щурясь на солнце, созерцают толчею, а заодно и нас, сидящих на скамью посреди площади Сен-Жермен-де-Пре. Одеты мы на грани приличия, да и бинт мой на руке не первой свежести. Я затагиваюсь до дрожи пальцев на губах, ощущая, как вздувается желвак под ее взглядом.

– Страна романа. Я предупреждала...

Я отстреливаю окурочок.

– Пошли.

Дома я ввинчиваю лист в машинку. С этой портативки с русским шрифтом началась моя свобода. Над забитым входом в дом напротив проступает замалеванная надпись. Январское солнце уходит с улицы, но верхний этаж еще освещен. Его окна заложены кирпичной кладкой. Выстрела оттуда можно не ждать.

– Хочешь кофе?

Зная, что в доме этого нет:

– Водки! – говорю я, – ма шеро. Стакан – и мы с тобой вернемся на круги своя. Но только чтоб граненый и до краев.

Амур, амор...

Иль не возьмем «страну романа»? После всего, что мы перенесли? После всего, что потеряли? Нет, верю, что в крысином тупике хранят нас тени Федора Михайловича и Мигуэля де. Нет, нет. Не все еще потеряно.



Прикурив последнюю, я наклоняюсь подsunуть под хромую ножку спрессованную пачку из-под «голуазов» – чтобы со всем комфортом расправить крылья своего «колибри».

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА:

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Они выходили, чтобы ехать на митинг в Трокадеро, когда зазвонил телефон. «Нас уже нет во Франции», – сказал отец, но Инес бросилась обратно.

«Алло, Париж? Москву вызывали?»

И потом он – Александр:

– Шери, шери?

Он сказал, что получил еще одно приглашение, на этот раз от ее тети из Андалузии – столько гербовых марок и новых королевских печатей на сургуче, что хоть на стену вешай. ОВИР же немотствует – молчит. Что в общем нельзя считать плохой новостью, поскольку отказа тоже нет. Что он по-прежнему такой же нежный. Что любит, помнит, целует повсюду...

«Прекратите непристойности, а то разъединю».

От неожиданности он запнулся.

«Кажется, третий лишний...»

«Это в койке, не на международной линии. Следи за языком, когда с Европой говоришь».

*Arrête, ignore cette salope, ne fais attention à rien*, едва не закричала Инес, чтобы спасти трудно доставшийся, втайне заказанный разговор. Но оглянувшись, она увидела, что все вернулись, и промолчала, слыша, как с готовностью, почти что с радостью – и это после пяти лет брака, высшей школы конспирации! – Александр рванулся к предложенному небытию: «Для вас Европа, для меня жена: куда хочу, туда целую. Шери, алло? Амур, амор? Европа, слышишь?»

Несмотря на сотрясения, трубка не оживала. Их разъединили. Возможно, навсегда.

На плечо легла рука отца.

– Опять проблемы?

Снизу смотрела Анастасия.

– Это был папа? Он придет?

Русский ее язык звучал, как вызов. Инес взглянула на свою мать, которая отвела глаза:

– Мы пригласить его не можем.

Родители не знали, что это уже сделал младший брат Тео, отправший от семейных ценностей настолько, что здесь его считали французом. Чувствуя себя прожженно подлой, Инес не удержалась:

– Почему?

– А если он захочет остаться?

Эстар, французская подруга Тео по Сорбонне, заметила, что ее отец давно помог своим родственникам выбраться из Польши. Отец Эстер руководил крупнейшим профсоюзом Франции, поэтому с ней считались, несмотря на юный возраст. Это другой случай, Эстер, бросив взгляд на отца, ответила мать. Русские писатели здесь сразу начинают работать на американский империализм. Смотри, какой урон наносит Солженицын.

– Александр не Солженицын, – перебила Инес. – Он художник, поэт...

– Я читал его книгу, – закричал отец. – Он враг! Не удивлюсь, если его посадят!

С открытым ртом Анастасия смотрела то на нее, то на своего *rari*\*. Мать сделала жест, напоминая ему о сердце, но он отмахнулся, гневный, как лев. Задребезжали стекла от проезжающего внизу трейлера. Вокруг были Рамон с беременной Оксаной, Палома с Жилем, но ответил ей взглядом только Тео, который выгнул бровь на этот рецидив сталинизма.

Отец шагнул к ней.

– Забудь! – И стиснул плечи. – Собирайтесь с девочкой, и едем с нами. И больше никаких проблем.

– Висенте, – сказала мать.

– Я хочу, чтобы она ответила!

– Товарищи на улице...

– Падре, есть риск опоздать, – подал голос и Рамон.

Отец отпустил ее – черную, заблудшую, гибнущую овцу...

– Есть еще время. Думай.

---

\* Дедулю (фр.)

В Москве из Центрального телеграфа Александр переместился в Центральный Дом литераторов.

Между кафе, где можно было писать на стенах эпиграммы, и Дубовым залом – нечто вроде бара. Он сел к стойке, заказал. Несмотря на безразличный вид немолодой, но крепкой барменши, все считали ее стукачкой, и доверительные разговоры за этой стойкой не велись. Налив в стакан сто грамм водки, она сняла с полки яркую банку греческого сока.

– Апельсинового нет?

– Только грейпфрут.

– Что ж...

Барменша стала наносить по жести удары шилом с намоленной рукоятью. Подсел литератор, глянул: «Цивилизация, да? Это как в конце той книги». – «Имеется в виду «Процесс»?» – «Нет, «Москву-Петушки». Неужели не читали? Лучшее в Самиздате». Заказав то же самое, литератор поднял стакан:

– Ну... За успех предприятия.

– Какого?

– Ладно вам. Все знают, что вы оформляетесь к жене во Францию. Надолго убываете?

– Два месяца попросил.

– Это как раз в Безбожном переулке писательский дом начнут заселять. Так что вернетесь прямо к новоселью. Что, не в курсе? Трехкомнатную получаете. Ваша фамилия в начале списка, – и хрустнул шейей кверху, имея в виду второй этаж, где располагалось руководство Московской писательской организации.

– Я на расширение не подавал.

– Вот видите? Другие подают всю жизнь. Надежды, значит, возлагаются на вас.

– Какие могут быть надежды...

– Вам лучше знать.

Глядя в стакан, Александр кивнул. – Не печататься ни здесь, ни на Западе, но писать в свой стол как можно больше, лучше и острее. В терпеливом ожидании Годо.

– Годо не Годо, а нетерпение к добру не приводит. – И бросив взгляд на барменшу, литератор понизил голос, на-

звав имя последнего по времени невозвращенца, критика... – Еще не знаете?

– О чем?

– Достали его.

– То есть?

– В лепешку смяли. – С изометрическим усилием вздувая бицепсы, он сжал ладони. – Меж двух грузовиков. Те его пытались вывезти из Югославии, но наши пресекли.

– Я думал, он давно в Америке.

– Нет, – и повторил малолитературный жест. – В лепешку. Вместе с женой. Так что давай-ка: за помин души...



Сопrotивляясь коварному обаянию оратора от компартии, она напоминала себе, что галстук ему, как обычно, завязала мать. Превращенный акустикой дворца в гиганта, творящего Историю, отец говорил в микрофон таким низким, хриплым, грудным, таким *испанским* голосом, что при всех своих мирах и языках, она тоскливо переживала глубинную свою непринадлежность ничему. Безродная космополитка. Но благодаря кому?

– Победа демократии в Испании, – гремел он, – это и наша победа. Считая гражданскую войну, за эту победу мы боролись ровно четыре десятилетия. В Мадриде и Мехико, а Барселоне и Москве, в Лондоне, Гамбурге, Цюрихе и здесь, в Париже, внутри и снаружи, в изгнании и стране мы неизменно ощущали себя частью большого мира, идущего к свободе. Партией в изначальном смысле слова... Частицей целого!

Он поднял кулак.

– Да здравствует коммунизм!

Это был не Кремлевский Дворец съездов, где «долгие и продолжительные» автоматически переходят в овации, это был Париж, причем не Левый берег, а реакционный Правый – но зал взорвался. В полном экстазе отбивая себе ладони, ряды поднимались за рядами. Под недоуменно-угрожающими взглядами соседней оторвались от кресел Тео, Палома, Рамон. Поставив на сдвоенные подлокотники Анастасию, встала и она – старшая и, как ей до сих пор казалось, любимая из четырех детей товарища Висенте, свинопаса,

флейтиста в муниципальном оркестре, команданте Народной армии, последнего защитника Мадрида, отличника Высшей школы Коминтерна, Сталиным лично выбранного и отправленного вместе с Пасионарией возрождать в подполье партию, самого рискованного члена парижской группы, «исторического лидера» – отец стоял на сцене с поднятым кулаком и вылезшим на лацкан воротником рубашки.

Рамон перекричал свои хлопки:

– Знала бы ты, как было в Швейцарии!

О Швейцарии не давали забыть новые часы на металлических браслетах, которые бились о запястья Тео и плотно обжимали руку Рамона. Она не знала, как было в Швейцарии, но, судя по дыханию, Рамон еще не избавился от гастрита, который вместе со своей Оксаной вывез из Москвы.

– Они с Долорес собирали стадионы! Как звезды рока!

Не создай себе кумира, сказала бы Инес, но в случае Рамона поезд ушел, что он и подтвердил, когда толпа заклинила их между рядами:

– Оксана упирается, но я тоже намерен завязывать с Парижем. Пора делать выбор, падре прав...

Она только усмехнулась, вспомнив, как учила его читать по-испански – в Варшаве, по переводной советской книжке «Первоклассница».

С большой, тяжелой, слишком белой дочерью на руках Инес проталкивалась к выходу в фарватере отца, к которому рвались с его последней книжкой за автографом или просто пожать руку, что в испанском варианте сочетается, к несчастью для сердечника, с ударами по спине. Где же мать? Издалека махнула рукой Палома, уводимая французским мужем на бракоразводный процесс. Братья, вынужденно превратившись в телохранителей, сдерживали напор «камарадос», местных испанофилов, а также журналистов, которых оказалось столько, что на ступенях отцу пришлось остановиться для импровизированной пресс-конференции, по ходу которой нельзя было не отметить физической подготовки советских корреспондентов: отец улыбался им, каменнолицым, которых только за внешний вид можно сразу объявлять персонами нон грата с немедленным выдворением за пределы.

Мать нашлась среди японцев. Обняв себя под накинутой кофтой, мать любовалась с эспланады открытым

видом на фонтаны и Эйфелеву башню за блистающей на солнце Сенной. Она косо глянула на красно-желто-красный, *монархический* флажок, который засунули в нагрудный карман «моно»\* Анастасии не разбирающиеся в испанских тонкостях французы-энтузиасты. Мать признавала только флаг Республики, которой не стало в 39-м.

– Представляешь? – Нервный смешок. – Я с восемнадцати лет в Париже, а в Мадриде не была.

– Даже во время войны?

– Нет. Мы сражались в Каталонии.

Отца и камарадас из Исполкома Гомес повез на партийной машине, за ними мать, Оксана и Рамон на «ситроене», потом, на студенческой «симке» Эстер и они с Тео – заговорщики. Кавалькада устремила к набережным. Миллионы сюжетов пронизывали город, но ей, Инес, в Париже был задан этот проклятый испано-русский, из которого не вырваться, разве что открыть дверцу и вывалиться на полном ходу.

– *Von\*\**, – заговорил Тео, – за Пиренеями дела у нас в порядке. А на Восточном фронте? – В ответ на молчание он сменил тон. – Насчет посадить, конечно, ерунда. Но если его не выпустят?

– Отец сказал однажды: «Я не могу ничего вам дать, кроме моего имени. Пользуйтесь им». Вот я и воспользуюсь.

– Как?

– Приглашу журналистов и чучело сожгу перед посольством.

– Какое чучело?

– Советского генсека. Представляешь сенсацию?

Эстер бросила на нее взгляд в зеркальце. Их это совсем не рассмешило, парижан хотя и юных, но отнюдь не образца 68-го года.



Александр допивал третий стакан цэдээловского скрюд-райвера, пищеводом чувствуя, как поднимается кислотность от историй про советских невозвращенцев.

---

\* Комбинезон (исп.)

\*\* Ладно (фр.)

«Длинная рука» их доставала всюду. Их выбрасывали из небоскребов, заливали в фундаменты домов, топили в бочках, а в расчлененном виде в чемоданах, которые стоят на дне всех европейских рек от Темзы до Дуная голубого. В последнее время, говорил осведомленный литератор, упор на автомобили. Специальные автокомандос смерти размазывают их по стенам, улицы там узкие – ты в Риге был – удобно очень.

Александр увидел себя отлипающим с парижской стены, как слой афиш. Картинку он растворил глотком.

– Я слышал, – сказал он, – что после Сталина победила другая школа мысли. Что работать надо чисто.

– Инфаркты делать? Завсегда. Как этому устроили, певцу протеста.

– Он не невозвращенец.

– Невозвращенец, сука.

– Нет. Ему предложили по израильской.

– «Свободу» слушаем? Ничего, он допоеется. Конечно же, работать надо чисто. Но важен устрашающий эффект. Взять бегуна и на х... зарубить.

– То есть?

– А топором б... на х... И лучше не на Западе, а здесь. Как говорится, превентивно. Да заодно с семьей. Тогда бы перестали, падлы, бегать от неизбежности русского ренессанса.

Александр допил до дна. Имея в виду контекст литературно-общественных споров той поры, когда скорлупу коммунизма стал изнутри поклевывать фашизм, он заметил:

– Вот это, наверное, критик Палиевский и называет *свиный* реализм. Вы тоже из свирепых?

– Куда, куда вдруг? – Хватка была крепкой, из-под манжеты выглянул кончик змеиного хвоста – начало синей татуировки. – Марь Иванна, еще по одной! Сиди, говорю! Или не веришь в ренессанс? В русское наше возрождение?

Уронив на стойку мятые рубли, Александр вырвался.

– Нусссс-мотри...

На улице невозвращенца Герцена было уже темно.

Александр поднял воротник и повернул налево, имея целью стоянку на площади Восстания и возвращение домой: зажечь повсюду свет, заглянуть за шторы, закрыться на цепочку и замки, и на кухонный топчан, ухом к взятому напрокат транзистору: «Вы слушаете Радио Свободы из

Мюнхена...» Нет, почувствовал он, домой невозможно. И повернул назад, к неблизкому метро. Этика преступного намерения обязывала к самоизоляции, но страх, постыдный и нерастворимый алкоголем, толкал к себе подобным отбросам – писакам, художничкам, разгульным инвалидам мирной армии, взрослым детям политэмигрантов, жертвам опрометчивых отцов, упорствующим в невыезде евреям-руссофилам: здесь, мол, центр Апокалипсиса...

Напоив «бормотухой», ему разложили раскладушку в прихожей на краю Москвы, где под брутальные звуки любви он отключился, ногами упираясь во входную дверь.



Перед сном отец пригласил ее на прогулку.

Фонари озаряли пустынность улицы имени французского соцреалиста. Листва еще держалась, но сезон бесповоротно кончился, и прокатная стоянка отпускных прицепов за сетчатой оградой была забита до следующих каникул, а ворота заперты на всячий замок.

Отец свернул на рю Эглиз – улицу Церкви. По обе стороны опущены до старых плит, где заперты, шторы лавок из рифленой жести.

– Дай мне сигарету.

– Тебе нельзя...

– Ерунда.

Он похлопал себя по карманам официального пиджака, и она решилась дать ему прикурить от своей зажигалки.

– Я всегда знала, когда ты уезжал в Испанию.

– Разве?

– Знала, ты рисковал. Все-таки гаррота страшней, чем гильотина.

– Нет, – оспорил патристически отец, – отрубленная голова живет четыре с половиной минуты, а тут умираешь сразу. Я не гарроты боялся, а допросов на Пуэрто дель Соль. Они...

– Я знаю. Вбивали в глотку все, что против них написано. Но ты возвращался. Каждый раз.

– Просто не совсем дурак был. Поэтому послушай, что я говорю. Когда-то я просил, чтобы ты не выходила замуж за русского...



– Не надо было посылать меня туда.

– Так получилось. Но сейчас пора все начинать сначала. Твоему поколению строить новую Испанию. Там ты станешь большим человеком. Министром. Хочешь? По делам женщин, например? И в мужчинах недостатка там не будет, в настоящих, *наших*... – Почувствовав, что тему лучше не развивать, отец сказал: – История дает нам шанс, которого потом не будет.

Улочка кончилась. Справа на пустыре запаркованы автобусы, натянут шатер бродячего цирка.

– Что молчишь? Оставайся во Франции. Может быть, в Америку хочешь? Чего смеешься, сделаем Америку. Куда угодно, только не в Москву. Надеюсь, ты меня понимаешь?

У подножья холма была церковь, Нотр-Дам в миниатюре. Никогда в нее Инес не заходила, хотя всегда хотелось: несколько лет ходила мимо в лицей Дидро на вершине.

Еще затяжка, и сигарета выкурена до пальцев. Отец уронил огонек на сточную решетку.

– Как политик я не хочу иметь заложницу в Кремле.

Обогнув квартал, они вернулись к дому в излучении станции обслуживания, откуда отваливал очередной международный трейлер. На крыльце он обнял ее и отпустил, как оттолкнул:

– *Adios!*

В аэропорт Руасси она не поехала. Закрыв за ними дверь, вернулась в гостиную и пришла в себя семь сигарет спустя.

Погода была летная, прекрасное небо смотрело в давно немывтое окно с опущенным каркасом, на котором трепыхались обрывки защитного козырька. Она сидела с ногами в драном кресле посреди невероятно грустной свалки, и в первую очередь хотелось выбросить газеты с крикливыми по-уличному заголовками: **«МОНАРХ-ДЕМОКРАТ? В ИСПАНИИ ЛЕГАЛИЗОВАНА КОМПАНИЯ!»** Она подобрала «Суар». На вчерашнем митинге отец был снят в своем безотказном ротфронттовском салюте: **«АДЬОС, ПАРИЖ!»** *«Товарищ» Висенте возвращается на родину!»*

В комнате матери раздался гневный рев, явилась Анастасия, нагая, румяная, потная со сна, и пнула пластмассовую бутылку из-под «эвиана». «Я описалась». Опустившись

на колени, Инес обняла ее плотное тело. Дочь взревела с новой силой по поводу того, что ее Миша собирается уйти, потому что не может существовать в подобном бардаке: «Почему повсюду *мерзость попустения?*»

Накормив ее, Инес оторвала от рулона большой мусорный мешок и стала ходить по комнатам, подбирая с пола фото, на которых была она. Дочь сразу поняла принцип: «Ты ищешь себя?» – и стала помогать, потом исчезла и нашла на пороге лоджии, через который перетаскивала лейку, наполненную до предела своих возможностей:

– Полить дедушкин садик, не то он умрет.

Октябрьское солнце озаряло крашеный красноватый цемент, вдоль перил стояли вазоны с помидорами, засохшими на палочках, а в дальнем углу из кадки торчало возвращенное ностальгией Висенте деревце – три-четыре апельсина размером в мандарин среди листьев, закопченных смогом парижского «красного пояса». Еще тут было кресло, когда-то недоехавшее до столицы мирового коммунизма: этакий топорно сработанный трон, в верхней части спинки вырезан герб СССР, окруженный безумно грустной надписью: **ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ – ГОРНЯКИ АСТУРИИ. 1937.**

Виски заломило, а горло сдавило так, что если бы не дочь, Инес бы разрыдалась. Затягиваясь из дрожащих пальцев «голуазом», она в ожидании протестующих криков слушала, как разбивается вода во дворе семью этажами ниже, смотрела на дочь, которая пыталась оживить невозможное, на застроенный за годы ее отсутствия во Франции недалекий холмистый горизонт, на проступающую сквозь зелень крышу лица, на старую церковь под холмом. Оставив под присмотром этой церкви дочь, Инес вернулась в гостиную, прорезанную дымным лучом, сняла с торшера телефонный том и отправила в Москву телеграмму, продиктовав ее по буквам: **ПРИЕЗЖАЙ КАК МОЖНО СКОРЕЙ.**

Справившись с задачей, телефонист засмеялся.

– Пардон, мадам, но этого не расшифруют даже в Си-Ай-Эй.

Зато *товарищи* поймут, подумала Инес.

– Как подписать?

Не учесть волеизъявление они не смогут, поскольку по адресу отправителя проживает большой друг Советского

Союза. Подписать его именем? Но они способны изыскать способ удостовериться, а действительно ли товарищ Висенте жаждет увидеть своего советского зятя в исторически обреченном мире. Однажды ему намекнули, что не стали бы чинить препятствий к выезду, если молодая семья пожелала бы воссоединиться на Западе, но, по словам отца, он отказался дать добро: «Мне только диссидента на шею не хватало!» Тогда без подписи. Что дает еще больше оснований предположить Висенте: решат, законспирировался. А в худшем случае, пусть думают, что Александра жаждет она, жена, как часть семейства, клана, рода, а эти вещи – КГБ или нет – в России пока еще серьезны, как в Сицилии. Чувствуя себя достойной дочерью «крестного отца», Инес ответила вопросом:

– Можно послать без подписи?

– Как угодно, мадам.

С набеганием хмельной слезы ее супруг, который вторую неделю не ночует дома, выводит на чужой кухне:

Страна не пожалеет обо мне,  
но обо мне товарищи заплачут...

В хрущобе ни дивана, ни раскладушки, но товарищ нашел решение проблемы, сообщив, что Томка не возражает против «тройника», после того, однако, как в смежной комнате заснет больной ребенок. «Заодно поймаешь кайф», – говорит товарищ, с которым Александр запивает водку «жигулевским». Он, собственно, товарищ первый день, но именно поэтому, как граф Безухов случайному французу и чтоб не подставлять тех, кого в первую очередь вызовут на допросы, именно этому на все готовому Сашку (они тезки) Александр выкладывает все – про весь этот е..., который начался с подачи заявления на зарубежный паспорт. Из меня хотят сделать параноика, с горькой обидой говорит он, рассказывая, как потерял он в городе ключ, а вернулся домой – ключ в двери. Как понес в комиссионку фотоаппарат, а там засада в подворотне, подзывают, предлагая вдвое, только он начал поддаваться на уговоры, как вдруг мусор. Еле убежал. Без аппарата. Сраная «Практика», а жаль. Тем объективом запечатлен был первый наш период – еще до ребенка, понимаешь, Толик... «Сашок», –

тот уточняет, подливая. Как человек из Союза писателей объявляет вдруг про новую квартиру, одновременно угрожая топором: «А я у них на х... ничего не просил, ты понимаешь? Сашок?» – «Гэбуха е...» Угрожая «Аэрофлотом», «Автотранспортом» и прочими средствами возвращения невозвращенцев, чтобы закопать живьем в родную землю, или, как неважного, государственно-военных тайн не причащенного, размазать по старым камням Европы, а лучше здесь, как того грузина со сценарных курсов, который тоже пытался... – Что? – Жениться на иностранке. – На какой? – Но Александр, трезвея, выбирает затемнить, возможно, спасая тем – кто знает? – собственную жизнь:

– Неважно. Тоже на дочери...

Толик, а точнее Сашок все понимает. Он наливает, жмет плечо. Потом исчезает, плохо затушив свою «приму». Александр смотрит, как она дымится, и вспоминает, что предстоит еще «а труа». До тошноты пресыщенный чужим и чуждым бытом, Александр отводит занавеску – стекло залеплено снегом. Выйти сейчас на х... и околеть во имя ренессанса. Снова мазохизм, ловит он себя на чувстве. Неужели так и не выйти из категории жертв? Неужели, внук, сын и пасынок рабов, он, Александр, обречен?

С пальцем на губах: «Уснули обе!» Сашок вынимает из-за спины изъеденную молью муфту, из которой вылезает вороненый ствол. От бати, говорит, остался. Парабеллум? Тс-с... Ухватясь за ушки, передергивает затвор, отчего вылетает патрон, который, набивая шишки, Александр находит под газовой плитой, где девятимиллиметровый влип в животный жир. Обтерев, друг загоняет патрон обратно и разворачивает пистолет, держа за ствол. Девять маслят в обойме, десятый в стволе. Бери и никого не бойся. Понял? Чтоб жизнь мне дорого продал! Всей насечкой рукоять впиивается в ладонь. Друг, говорит Александр. С ним я рискну домой. Обожди, обидим Томку. Но она ведь спит? Сейчас разбудим, зря, что ли, купалась. Но ей же на работу. А завтра у нас что, то есть сегодня? В первую смену, да. Видишь. В другой раз. Ладно. Только смотри. Если что, вдруг дома засада, переключаешь на «огонь». Дай покажу...

Александр засовывает пистолет под пояс, но Сашок извлекает чекушку и пару пива:

– По последней, Сашок. За дружбу нашу, а они пусть сдохнут!

Снаружи буран.

И до того незнакомый, микрорайон превратился в поселок за Полярным кругом. Ощущая членом ствол, Александр стоит посреди того, что было проспектом. Из бесовской круговерти наконец выныривают фары. Такси? Но тут же прошибает до пота. *Мусорка!* А он с огнестрельным. Неужто Толик подставил? То есть, Сашок? Абзац. Пятнадцать сутками по пьяни не отделаться. Запад закрывается автоматически. Лет пять впаяют, потом, опущенного, отпустят доживать... Что делать? Оставить пару трупов и пропасть в метели?

Взгляд из окна патрульной машины недобрый: с одной стороны, клиент, поскольку явно выпил, с другой – на ногах стоит, а главное одет. Пыжик, дублон... Спецраспределитель, может быть. Ошибешься, себе дорожке будет. Проезжая мимо социально защищенного гуляки, клетка исчезает.

Александр утирает шапкой пот.

Со стороны блочных домов возникает девушка. Представляет как попало длинные ноги. Поскользнувшись, съезжает прямо в сугроб. Отстаньте, сволочи... бормочет, поднимаемая Александром. Под заснеженной прядью серые незрячие глаза.

На заднем сиденье она приваливается, он трет ей маленькое ухо. Остро воняет бензином. Пожилой таксист поворачивает на шарнире зеркало, следя за ними, а в конце пути отводит протянутую трешку, прося отдать пацанку. Нет, не себе, сам он семейный. Черномазым сдаст. А если за десятку?

Ударом ноги захлопнув дверцу, Александр втаскивает найденную малолетку в подъезд, где прислоняет к стене, чтобы открыть почтовый ящик.

Открытка от матери – поздравление к 60-й годовщине Великого Октября. С чего она вдруг? Международная телеграмма из Парижа, почему-то неподписанная: *Priezjai kak mojno skorei.*

С горькой ухмылкой Александр подхватывает нимфетку, одновременно схватывая на лету ещё одну бумажку лимонного цвета.

Нет! не может быть... Сердце срывается от государственных инфинитивов. *Явиться за получением. С собой иметь...*

Он так целует девушку, что на мгновение она приходит в себя:

– Отстань...

На третьем этаже он открывает новообитую дверь, без боязни вступает спиной в темноту. Уже запах нежити. Свалив ношу на супружескую их кровать, он раздвигает шторы и застывает. Вдали, где в зоне стройки оставлен до весны в живых уже ничейный фруктовый сад, отбрасывает искры и блики большой, страстно пылающий костер.

Он встает коленями на кровать, снимает с нее сапоги из кожзаменителя, пальто с воротником искусственного меха.

– Не трожь...

– Очень мне нужно.

С разворотом к стене накрыв ее присланным из Андалузии тяжелым покрывалом, Александр ложится не раздеваясь – парабеллум под матрас.

Он просыпается от шума воды. За окном светло, костер в снегу не гаснет.

Отстирывая в умывальнике колготки, она бросает взгляд исподлобья, потом приходит босиком на запах кофе. Нет, она не откажется – если с молоком. Прокисло молоко. Но есть сгущенка.

– Сойдет. Мерси... Хата твоя?

– Моя.

– Обставить бы надо. Это какой район?

– Хороший. Почти центр.

– Ну да... – Она встает, смотрит в окно. – Что там за пушки?

– Музей Вооруженных сил. Не водили на экскурсию?

– Нет, но можешь меня сводить.

– С какой вдруг стати?

– А целку мне ломал – с какой?

– Не я.

– А кто?

– Те, с кем гуляла. Не помнишь?

– А, да, – пытается она наморщить лоб. – Что-то припоминаю. Спиртом с сиропом напоили школьники. Но ничего у них не получилось, только обтрухали.

– Что называется *преждевременная эякуляция*.

– Как?

– Проехали.

– Что мне больше всего в мужчинах нравится, так это интеллект. Вы холостой?

– Женатый.

– А где она?

– В Париже.

Захотала.

– Зовут, случайно, не Марина Б...?

Он ее выставил, дав трешку на такси. Принес в комнату пыльный чемодан, раскрыл на полу и начал укладывать бумаги. Звонок. Он поднял голову. Ноги затекли. Приложившись к глазку, он открыл.

– Отец убьет меня с похмелья, – сказала она. – Можно еще побуду?

– А это что?

– Вам же есть нечего.

Она укладывает в холодильник яйца, масло, сыр.

– Ничего, что я колготы сниму? А то сырые...

Потом просит разрешения поставить пластинку. Ложится и, опираясь на локоть, смотрит, как он на коленях собирает бумаги.

– Я, правда, еще девушка.

– Супруг доволен будет.

– Это мне как раз без разницы. Просто, понимаете, никто не смог. Повысить до ранга женщины, как говорится...

– Все у тебя впереди, – говорит он, просматривая дневники, которые начал в одиннадцать лет, вел в школе на окраине Минска, и когда работал, и в Московском университете: безумно жалко, такой ведь материал...

– В Шэрээм у нас, ну в Школе рабочей молодежи, преподаватель литературы. Одна грязь у него на уме.

– Да ну?

– Ага... – Она садится, натягивает юбку на колени. – Научил меня штукам, которые мужчины любят. По разврату ну просто профессор. И слова знает, как ты. Не такой симпатичный, но очень-очень умный.

Он бросает папки чемодану в пасть. Рукописи, письма. Без разбора.

– Может ты импо? – Она смеется провокационно. – **ИМПО-77.** Фу, пылицу поднял. Уж не в Париж ли собираешься?

– Идем, – он поднимает чемодан.

Вокруг костра грязь.

Вытряхивая бумаги, Александр бросает следом картонные папки и возвращается в снег, где, поскрипывая, переминается длинноногая красивая девчонка. «Я думала, вы шутите...» Когда он приходит за новой охапкой, ее рядом с чемоданом уже нет. Бумаги горят долго, он начинает нервничать. Костер сжирает тайны, но выдает их носителя. Дом за спиной огромный, такой, что, как бы ни было поздно, окна у кого-нибудь да светятся. Может быть, его уже засек какой-нибудь бессонный офицер ГБ? Обойщик двери говорил, что в доме их полно.

Отворачивая лицо, Александр вываливает в гудящее пламя все, что осталось. Бросает и чемодан, с которым десять лет назад приехал брат Москву.

Этим разрешили.

Кланяясь за то советской власти чуть не в пояс, пара будущих эмигрантов возвращается в зал ожидания задом. На улетающих в западном направлении персонажей Шагала эти местечковые не похожи. Супруг лет сорок, кровь с молоком и слишком короткие лавсановые брючки над носками и ботинками на микропоре. Обалдев от счастья, закурил, причем не сигарету с фильтром, а неожиданную в его случае папиросу. Первым возник, однако, не переодетый в мусора гэбэшник в дверях, а соплеменник в очереди: «Молодой человек! Здесь курить не положено». – «Виноват! – бесконечно счастлив тот признать. – Да, да, конечно! – и сует выездные документы супруге. – Я сейчас...» Выходя, он держит пригоршню под возможным пеплом, потом возникает снаружи, в переулке, где ходит взад-вперед мимо низких окон ОВИРа, и все наблюдают, как частыми глубокими затыжками кончает свой «Беломор» будущий гражданин свободного мира. Потом переглядываются с осуждением. Нельзя так раскрываться. Чревато-с.

И точно.

За этой парой следует отказ...

Под зрачком телекамеры очередь цепенеет. Изучает свои набрякше-сцепленные руки, крапчатый линолеум, начищенные ботинки и складки на брюках того, кто в форме милиционера стоит у входа в этот зал ожидания, украшенный фикусами, алоэ с кактусами и портретом Генерального секретаря. Встречаясь взглядами, люди тут же их разли-



мают, принимая потупленный, сокрушенный, едва ли не скорбный вид, будто оказались тут не по своей воле.

Еще один отказ.

Еще...

Отказники, они сникают молча – серые лица, пропавшие глаза.

Но вот дверь открывается пинком:

– В КГБ писать буду! На имя вашего председателя!

– Хоть Брежневу, – отвечают вслед ему и его деду, который, выходя боком, зажимает ладонью себе рот от страха за горластого внука-культуриста, который оделся, как в израильскую армию: шнурованные ботинки, натовская куртка.

– И Брежневу напишу! А не поможет, президенту США! Хотите жрать американский хлеб, так уважайте поправку Джексона!

– Ну-ну, – снисходит лже-милиционер. – В руках себя держите, молодой человек. Все у вас впереди, еще навоюетесь с палестинцами...

– Следующий!

Очередь опускает глаза, когда встает Александр, которого лучше в памяти не сохранять, настолько он явно по другому каналу.

Решетка на окне прикрыта шторами, из-под которых просачивается ясный день, но в кабинете электрический свет. Тут две сотрудницы, и обе смотрят с отвращением. Я, он говорит, за паспортом. Ему кивают на стол, перед которым он садится на жесткий стул. На краю стола двускатная картонка с надписью «Майор Буймасова Н. Е.». Сложив под грудью руки, майор смотрит, как Александр выкладывает на стекло ее стола открытку-вызов. Внутренний свой паспорт. Квитанцию из сберкассы на улице Богдана Хмельницкого, где, пусть свобода и бесценна, с него сняли отнюдь не малые бабки.

Вместе с подушечкой майор разворачивается на сиденье к несгораемому шкафу. Нижняя полка забита новенькими паспортами, один из которых *остановись, мгновенье!* вынимается.

– Во Францию?

Александр удерживает нейтральную маску на лице, которое готово расплыться в улыбке до ушей. Уже отобрав его горчичный паспорт, бордовый майор удерживает:

– На шестьдесят суток? В гости? В первый раз? При чем тут Венгрия, в капстрану – в первый? Тогда ознакомьтесь...

В папочке, вынутой из ящика, текст под названием «Правила поведения гражданина СССР в капиталистической стране». Поля документа захватаны дактилоскопией, читатели усиленно потоотделяли.

– Не торопитесь, – и майор переключается, адресуясь к офицерше за спиной Александра. – Этот-то твой... а?

– Главное, его же там забреют сразу. Здесь ему, может, жизнь спасают: а он: «Поправка Джексона, поправка Джексона». Ну, л-ллюди...

– С нашими тоже проблем хватает.

В капстранах запрещена совместная езда в купе с лицом противоположного пола (потребовать, чтоб проводник переселил к однополуму пассажиру). Посещение сомнительных заведений. Мест, где собираются эмигранты. Участие в коммунистических манифестациях тоже...

– Все ясно? Тогда, – придвигается бумажка, – распишитесь.

– В чем?

– В том, что ознакомлены. Внимательно прочитали?

– Да...

– В этом и распишитесь.

На сделку с дьяволом как будто не похоже. Он берет ручку.

– Здесь?

– Нет, тут. А теперь в получении.

Не краснокожий, а бордовый с золотом. В полустоячем состоянии от новизны. Александр вдыхает запах полиграфии Гознака.

– Спасибо.

– Не за что.

– Да... а теперь что?

– В посольства – визы получать.

– В какие?

– Географию учили?

– Польша, ГДР...

– Эти не надо. ФРГ, Бельгия – транзитные. Потом к французам. И смотрите! – переходит вдруг на крик. – По Европам чтоб не ездить. Раз виза во Францию, во Франции и сидеть. А то взяли моду: то Италию прихватят, то Швей-

царию. Это поэтесса, алкоголичка, так ваще: исхитрилась аж за океан. Гастролеры!

Вся красная, в мундире и погонах.

– Чем, собственно, я вызвал?

– А уважать границы надо! Уважаешь здесь, так уважай и там!

Александру ударило в голову, как он швыряет ей вонючий паспорт: «Вот вам ваша Франция!» Он поскорей втокнул его в карман и выскочил на крике:

– Следующий!

Снежинки кружились в досоветской перспективе Колпачного переулка. Под ногами захрустел растаявший и вновь подмерзший снег. Воздух ожигал ноздри, и казалось, что все это происходит не с ним, не может быть, чтоб с ним, таким здешним, таким всецело посюсторонним – от мира сего. И внезапно захотелось пельменей. Разваренных и обжигающих – полный судок. Общепитовский, из нержавеющей, с горячими исцарапанными отворотами. С маслом, со сметаной, с перцем, уксусом, горчицей и кем-то за мрамором стоящим рядом, плечо в плечо – таким понятным и своим, что... И это все отдать? Лишиться добровольно? Ностальгия волоклась, как на цепи ядро, причем, с такой нарастающей гравитационной силой, что поравнявшись с пожарной каланчой, он остановился и полез за пазуху. Просил герб СССР. Фото в соответствии. Нет, это не сон, шлагбаум поднят. Теперь надеяться им только на внутренние границы. На то, что не сумеет преступить...

В самом центре Москвы, между маршами спуска в подземный переход и в метро «Площадь Ногина» лежал, закатив глаза и выставив бороду, могучий среднеазиат в сапогах, халате и чалме, пропитавшейся кровью. Плотнеющая перед часом пик толпа его огибала, и дела до гостя столицы, возможно, уже умершего, не было даже эlegantному (рядом с ЦК КПСС) милиционеру, который любезничал с кассиршей, поигрывая белой дубинкой.

Он тоже пробежал, спеша со всеми вниз...

Невероятность происходящего подчеркивали цифры. В Центральном бюро путешествий «Интурист» билет до «станции Париж» ему продали за сто пятьдесят два рубля и 98 коп. Две копейки сдачи он бросил в щель ближайшего

автомата, чтобы сообщить приятелю, который не знает ничего:

– Шестого ноября. Поезд девятнадцать. В двадцать десять отходит с Белорусского. Если хочешь, приходи проводишь.

– Что, далеко собрался?

– Далеко.

– Но не надолго?

Сбычась за рулем, таксист молчал. По радио шла трансляция праздничного концерта из Дворца съездов. Машина напоследок попала паршивая. Продавленное сиденье в наскоро заштопанных бритвенных шрамах, из-под ног вонь бензина с плохо отмытой предпраздничной рвотой. В струящиеся стекла прощально смотрела Москва: глянцево-черный асфальт, окна, сияющие телеизлучением, древки флагов на фонарях – хлещущие чернотой полотна.

– Скорей бы третья мировая.

– Что так?

Молчание.

– Жить надоело?

– *Ждать*, – сказал таксист. – *Ждать* надоело. – Свернул под мост и резко тормознул в зеленом сиянии вокзала. – А может быть, и жить. Тебе что, нет?

Несмотря на трешку без сдачи, открыть багажник он не вышел и, как только Александр извлек багаж, дал газу так, что подпрыгнула крышка.

Вокзал был, как сквозная рана. Окаменевшая. Х..., жизнь прожита. Не 19, двадцать девять. Кроме русской его любви все, что возможно было здесь, сбылось. Взял не только Москву, но и свободу... Гулким мрамором он вышел под навес, сразу увидев веер пустых путей, а слева поезд с погашенными окнами. Еще не было восьми, но тьма, как ночью. Освещен лишь был своими лампочками огромный, этажа на три, портрет Генерального секретаря ЦК КПСС. Под порывами дождя взлетал и бился истерично насквозь промокший материал: кумач, как креп.

Кроме четырех теней на перроне никого – тревожная, поднадзорная пустынность, как тень отложенная экспресом, убывающим на Запад. Рядом с этим поездом им, провожающим, явно не по себе. Как бы вместе они стояли у входа в вагон «Москва – Париж», но каждый при этом был

обостренно обособлен, тем более, что до сих пор не подозревал о существовании других. И с этими другими знакомиться не спешил, разумность чего в свете ближайшего будущего Александр не мог не одобрить. Он опустил чемодан, переложил машинку в левую и поздоровался с каждым. Если не считать Генсека, в открытую никто на них при этом не смотрел. Потом он снял шапку, выбил воду.

– Да, – сказал Сашок. – Снежок растаял.

– А было ощущение: зима!

– Чего-чего, а этого нам тут не избежать...

– Улечу в Баку, – содрогнулся южный человек. – Наш маленький Париж...

Никто не решился подняться в вагон. Когда, уже без багажа, Александр спустился, двое, пряча лица от дождя, спорили о метафизике зимы. Не только, дескать, образ правления, но ведь и праздник света, но и братский союз окружающих. А кровь, а жажда жить, а Эрос? А поцелуй наш «на морозе»? Но ты уж не спеши обратно, обернулся критик. Подожди до весны. А еще лучше до «оттепели», уточнил прозаик, обметя выбритые щеки своей влажно-колкой бородицей. К однополым поцелуям не привыкший, южный сунул теплый пакет инвалютной «Березки» и понизил голос: «Покушать, выпить, покурить... Зря камушки не взял, как человек бы жил. Цыпленок, между прочим, из «Арагви». Дождавшись очереди, тезка во время тесного объятия принял из пальто в пальто замотанный в мохеровый шарф парабеллум, из которого Александр сумел не застрелиться, и троекратно запечатлел: «Давай, Сашок! Большому кораблю...»

Все вместе собрались перед окном, сверкающим от капель. Они улыбались, глядя снизу вверх, все четверо на фоне отсыревшего портрета – брата Мальчика-с-пальчик на фоне могучих челюстей.

Поезд тронулся. Они бежали вровень, растягиваясь, отставая по одиночке, вбирая головы в воротники, раскрывая зонты и поворачивая обратно. Где обречены были остаться навсегда. По разным причинам никто из них не мог стать «выездным».

Не снимая пальто, он сидел в полутьме. Отчужденно косясь на отделку. Озаряемый летучим светом окраинных платформ. Один не только в купе, но, казалось, и в вагоне. На поблескивающей крышке умывальника прощальный

дар. Бутылка водки, папиросы Сталина и цыпленок-табака, в отделе мокрых дел пропитанный мгновенно действующим. Глядя на пролетающие станции, он самоиронично глотал слюну. Голод и параноя, не забыть бы неповторимо советскую смесь. На длинном перегоне рванул вниз раму и выбросил цыпленка на ливневый ветер.

Отстегнул часы и, отвалясь с закрытыми глазами, зажал их в кулаке.

Было по-прежнему темно, когда семьсот с лишним километров спустя Александр вышел в коридор и, глядя в окна, пошел к тамбуру, где проводник открывал уже дверь. Поезд подходил к вокзалу белорусской столицы, первая и предпоследняя остановка на территории Союза. Город спал, ореолами светились лампы над провалом привокзальной улицы, здесь было теплей, климат здесь был мягче, и однако в свое время он отсюда еле выбрался живым. Засиял провинциальными неровностями перрон, и он увидел, как они вглядываются в окна. «Сынуля!» – закричала мать, и они бросились за вагоном, мрачный сводный брат, отчим, придерживающий полы и в отставке неизменной своей шинели. На протянутых руках мать держит нечто, *не хлеб-соль, надеюсь*, завернутое в пончо с бахромой. На первом курсе подарил один чилиец, и мать обнажает в купе завернутую в местные газеты кастрюльку, которую выбросить не жалко: «Горяченького! К празднику гречку выбросили, тоже стала дефицит, а помнишь? И пончо свое забирай», но Александр, зная, что она сидит в нем перед телевизором, отдает ей пончо еще раз, а заодно снимает свой парижский плащ, в который, прикусив сигарету, влезает сводный брат, а на широком запястье отчима защелкивает браслет своих часов: «Как же будешь ты без времени? Ну, спасибо, сынок», – и обкалывает необратимо седыми усами. «Тут вот...» – и Александр вынимает сверток с тем, что невозможно вывезти. Мгновенно пряча это за пазуху, мать начинает рыдать, отбрасывая руки отчима: «Мы его больше не увидим! Вы что, не понимаете?» – «Удачи, брат», – сжимает сводный брат ему плечо. «Сынок? – доходит и до отчима, – или забыл новеллу Бунина «В Париже»? Не соверши ошибки роковой». – «А главное, Россию, – истово целует мать, – Россию-матушку по радио не обижай...» Проводник вторгает-

ся тюремщиком. В коридоре мать говорит назад: «Фрикадельки там горячие! Чтоб не всухомятку! Домашнего перед чужбиной, он у меня язвенник! И ложечка серебряная, твоими зубками обгрызанная! Ешь, не выбрасывай! Дорога дальняя!»

Взяв друг друга под руку, они идут шеренгой на уровне его ног, она запрокидывает голову: «Счастливого пути, сынок! Бог захочет, в этой жизни еще свидимся!»

Дверь грохочет, как в камере. Проводник высказывает нечто вроде сочувствия:

– Видать, надолго туда вас зарядили...

Нельзя исключить при этом, что сотрудник свяжется с Москвой, проинформировать о нетипичном взрыве страстей перед границей. Есть еще возможность быть снятым с поезда и возвращенным по месту прописки, где ночной обыск уже, конечно, обнаружил свидетельство о злонамерении в виде отсутствия личных бумаг. По пути к Бресту он то сжимает в кулаке нательный крест под тонким свитерком, то садит натошак «Герцеговину Флор» – одну за другой. Сердце бьется в самом горле, но, пока поезд переставляют на узкую, на европейскую колею, по-белорусски мягкий таможенник, бросив взгляд в заранее открытый чемодан, только и говорит, что: «С праздничком!»

А пограничник со сбритыми прыщами без слов оттискивает ему в паспорт штамп убытия, легко поддающийся дешифровке: **СССР КПП 7 11 77 БРЕСТ.**

Серый, недорассветный день...

Поезд оцеплен, по перрону растянулись солдаты с автоматами. Армия перешла на зимнюю форму, и они поерзывают, потяя в своих шинелях. Это другое поколение, младше на десять лет. Лица без выражений, еще не успели их приобрести. Не добрые, не злые, а тот, что напротив за окном, не тронут даже бритвой. Он должен бы предотвратить. Передернуть свой «калаш» и разнести на крохи. Неужели даст уйти? Поглядывая на солдата, Александр разворачивает мятые номера «Советской Белоруссии», снимает алюминиевую крышку. Солдат наблюдает, как Александр давится остывшей кашей с фрикадельками. Глаза оживают, когда Александр распечатывает бутылку «Московской». Бар самоосвещается при извлечении стакана. За наливом солдат следит с возрастающим интересом. Налив себе с краями, Александр осторожно отрывает водку и, кивнув солда-

ту, начинает переливать в себя – с предварительным, конечно, выдохом. Или он не сын страны?

Он все еще работает кадыком, когда в глазах – нет, за окном! все начинает плыть, солдаты забрасывают автоматы на плечо, ряд серых спин удаляется на восток, где останется вся жизнь его, включая «священную границу», которую он видит в первый и последний раз – отсыревшие, небрежно сколоченные сторожевые вышки в некошенных лугах запретной зоны, ржавь колючей проволоки, ряды которой разматываются под откосом, и вот он, тот мифический «бугор» над Бугом, тусклой речушкой, резанувшей по глазам, как лезвием. Опережаясь слыша, как поезд въезжает на мост, он стискивает зубы, пытаюсь, силясь удержать. Но организм срывает всю символику. Одним движением сдвигая все к окну, он задирает крышку и сгибается над умывальником, под которым в дырке ничейная земля. Рвет, как в детстве, грязным фонтаном.

Неужели пропустил?

В окно страну уже не видно. Утираясь тыльной стороной руки, он выскакивает в коридор. Рама не поддается, он припадает, притирается скулой, и горло успеваает перехватить пронзительный предзимний вид, пожухлый краешек случившейся однажды сверхдержавы, которая – Господи, вся! до Ледовитого! до Тихого или Великого! – под стук колес неторопливо отступает в вечность, при этом оставляя его в живых, бросая наедине с собой...

Зачем? *За что?*

Впрочем, в мгновенье это никаких вопросов Александр себе не задает.

Чистое горе, чистая радость.

**Париж – Мюнхен**



Сергей Юрьенен

**ДОЧЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ**

*Роман*

129278, Москва, Рижский пр., д. 7.  
Редактор: Моисеев Л.  
Технический редактор: Молоканова Н.  
Корректор: Волкова Н.  
Ответственный за выпуск: Борисова Е.

Сдано в набор 20.10.98. Подписано в печать 19.02.99. Формат 60 x 90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,00. Усл. кр.-отг. 15,00. Уч.-изд. л. 15,2. Тираж 5000 экз. Заказ № 480.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

*“Сергея Юрьенена я узнал буквально в первые дни его приезда в Париж, где он попросил политического убежища. Первая его книга “Вольный стрелок” вышла вначале по-французски и была восторженно встречена всей французской прессой – и левой, и правой. Одна из газет написала даже, что во Франции родился великий русский писатель. Эта его книга также, как и последующие была переведена на ряд языков: немецкий, английский... Нужно сказать, что хотя Василий Аксенов назвал его одним из талантливейших прозаиков своего поколения, русские издательства и русская периодика почти его не печатали.”*

**Александр Глезер**

*“Юрьенен появился в определенной ситуации из-за лета советской литературы, может быть, из-за лета русской литературы. У него были такие предшественники, как Аксенов и Зиновьев. От Аксенова до Зиновьева там все вобрано. Юрьенен оказался необычайно чутким в этом смысле человеком, я его помню по журналу “Дружба народов”. Он, с одной стороны, взвешенный человек, а с другой – невероятно чуткий и активный. Он очень много соединил, очень много консоммировал, начиная от моды на эрос и вольные выражения и кончая типологией.”*

**Лев Аннинский**

- ◆ Центр современной русской культуры
- ◆ ООО “ДОГРАФ”
- ◆ ТОО “ВНЕШСИГМА”

КНИЖНИЦА МОСКВА  
МАГАЗИН  
ISBN 5-86290-381-5 (35) X  
Юрьенен. Дочь генерального  
254093  
35.00